

Жизнь В. С. Печерина

I

Юность Печерина

История знает многих людей, которые в сущности никогда не жили — я разумею: жизнью, достойною человека, — и тем не менее приобрели громкую славу; а тот, о котором я хочу рассказать, жил более, нежели одной жизнью, и однако кто знает его имя? Людская слава венчает тех, кто много сделал, — создал или разрушил царство, построил или, по крайней мере, сжег какой-нибудь великолепный храм. Но есть другое величие, не менее достойное славы: когда человек, хотя и ничего не сделал, но зато много и глубоко жил. Одним из таких редких людей был Владимир Сергеевич Печерин.

Он происходил из незнатного, хотя и дворянского рода; его прадед из лакеев Елизаветы Петровны дослужился до обермундшенков^{1*}, дед был капитаном в войске, потом служил по полиции в Москве и наконец заседателем верхнего земского суда в Рязани¹. Отец Печерина родился в 1781 году, ребенком был зачислен в гвардию и с 16 лет тянул военную лямку, скитаясь с полками по России. Около 1806 года он женился на дочери статского советника Симоновского, Пелагее Петровне, в селе Кобыжче Козелецкого повета, Черниговской губ². От этого брака и произошел наш Печерин. Он родился 15 июня 1807 года в селе Дымерки Киевской губ. Он был единственным сыном своих родителей.

Где и в какой обстановке протекло его детство, об этом почти ничего неизвестно^{2*}. В конце 60-х годов его племянник Поярков^{3*}, посетив Дымерку, писал ему³: «Внешняя обстановка Дымерки нисколько не изменилась. Тот же дом, правда, перестроенный, но в том же виде, окруженный болотом и лесом; тот же громадный сад, только сильно запущенный; та же двухверстная аллея через лес к дому; тот же окоп, то есть лес, окопанный рвом, куда все обитатели Дымерки, всех поколений, неизменно ходили собирать грибы. Все службы у дома еще времен вашего пребывания в Дымерке». Эти строки позволяют думать, что по крайней мере ранние годы Печерина

прошли в Дымерке. Ценнее другое сведение о его детстве: много лет спустя он объяснил ту душевную тревогу, которая выбила его из обычной колеи, влиянием на него в детстве, с одной стороны, «жгучих идей либерализма», которыми пропитал его губернатор-швейцарец, с другой — деспотического обращения отца, непременно хотевшего вырастить сына солдатом. Читавшие биографию Грановского знают, какое действие оказала на него случайная встреча в Орле с французом Жонью⁴, а Герцен сам рассказал о том, как суровый старик Бушо, один из малых участников великой революции, обучавший его французскому языку, — заметив однажды в своем ученике симпатию к своим радикальным идеям, перестал считать его пустым шалуном, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и историю своего бегства из Франции, когда «развратные и плуты взяли верх»⁵. К этому типу принадлежал, по-видимому, и губернатор Печерина. Он не мог не полюбить своего пылкого, одаренного живой фантазией ученика, и вероятно в пламенных речах завещал ему непримиримую ненависть к деспотизму, учил его гражданскому героизму и любви к свободе по Платону, и, может быть, ему самому, этому богато одаренному мальчику, слушавшему его с горящими глазами, пророчил, как Ромм Строганову, великую будущность в первом ряду борцов за процветавшую в древности, ныне попранную свободу⁶. А грубый гнет отцовской муштры делал впечатлительную душу мальчика еще более восприимчивой для радикальных идей учителя.

Мы не знаем, где Печерин получил первоначальное образование. В 1829 году он уже в Петербурге, студентом филологического университета.

Что представлял собой петербургский университет в конце 20-х и начале 30-х годов, до преобразования его по уставу 1835 года, это довольно хорошо известно из воспоминаний Никитенко и других. Сам Печерин позднее писал: «Когда теперь припоминаю тогдашний петербургский университет, то так и руки опускаются. Ведь действительно никакое самостоятельное развитие не было возможно. В преподавании не было ничего серьезного: оно было ужасно поверхностно, мелко, пошло. Студенты заучивали тетрадки профессоров, да и сам профессор преподавал по тетрадкам, им же зазубренным во время оно»⁷. В.Григорьев⁸, ставший студентом в 1831 году, рассказывает⁹, что заучивание требовалось дословное и что большинство профессоров бывало недовольно, если слушатель на репетициях⁹ отвечал собственными словами. Почти все время студентов уходило на слушание и записывание лекций, читавшихся не только утром, но и после обеда. Курс историко-филологического факультета ограничивался богословием, древними и новыми языками, словесностью, историей и статистикой; философия и политическая экономия принадлежали к юридическому факультету, а теория изящных наук и археология филологам не читались за недостатком преподавателей. Древние языки, составлявшие главный фонд факультетской науки, преподавались по-гимназически: проф. Попов томил студентов переводами с греческого на латинский и латинским перифразом, восклицая поминутно: «nolite negligere grammaticam

Butmani»* (им же переведенную на русский язык), Соколов одно полугодие питал и поил их греческой грамматикой, заставляя переводить с греческого на русский и латинский грамматические упражнения и мифологические рассказы в 1-й части хрестоматии Якобса, а во втором полугодии читал с ними отрывки из Геродота и Гомера по 2-й и 4-й частям той же хрестоматии. Русский язык и словесность на 3-м курсе читал Толмачев, внедрявший в студентов этимологическую премудрость. Образчиком его патриотического корнесловия может служить производство слова *хлеб* на разных языках: сначала, говорил он, когда месят хлеб, делается *хлябь* — отсюда наше *хлеб*; эта *хлябь* начинает бродить, отсюда немецкое *Brot*; перебродивши, *хлябь* опадает на низ, отсюда латинское *panis*; затем поверх ее является пена, отсюда французское *pain*. Кабинет он производил от слов *как бы нет*, поясняя: человека, который удаляется в кабинет, как бы нет. «Честь и украшение» факультета составлял академик Грефе^{10*}, выписанный из Лейпцига, ученый друг мнившего себя латинистом графа С.С. Уварова^{11**}; он читал на высшем курсе латинский и греческий языки, оба по-латыни. Узкий специалист-филолог, великий мастер по части стилистического комментария и конъектур, он также не мог способствовать умственному развитию студентов, но по крайней мере мог дать серьезную научную подготовку тем из них, у кого обнаруживались склонности и способности к изучению древних языков. Одним из таких студентов оказался Печерин. Замечательные филологические способности уже в половине университетского курса обратили на него внимание Грефе. По-видимому, и Печерин высоко ценил своего учителя и ревностно занимался под его руководством, в позднейшем (1869) отрывке из своих воспоминаний он говорит: «Мне казалось, что мы с нашим академиком Грефе звезды с неба снимаем»⁶.

Эпоха, когда юный Печерин со своими мечтами о борьбе против деспотизма попал в Петербург, принадлежит к самым мрачным периодам русской истории за XIX век. После подавления декабрьского мятежа русское общество как бы вдруг оцепенело; всякая духовная жизнь замерла под гнетом железной руки, и утопические мечты, еще тлевшие в немногих умах, должны были постепенно угаснуть среди безнадежной действительности. Общество было запугано, его жизнь наполнилась мелочными, пошлыми интересами, а те немногие, которые задыхались в этой атмосфере, то есть лучшая часть молодежи, — бросались в эстетику, жили поэзией Шиллера и театром. В том же отрывке 1869 года: «Бури улеглись (он разумеет восстание 14-го декабря), настала какая-то глупая тишина, точно штиль на море. В воздухе было ужасно душно, все клонило ко сну. Я, действительно, начинал уже дремать». Это значит, без сомнения, что революционный пыл в нем ослабел, — он начинал забывать уроки либерализма, преподанные ему гувернером. «Мне грезился какой-то вздор, какое-то счастье: жить в единении с Греками и Латинами и ни о чем более не заботиться»^{12*}.

Если он не заснул тогда совсем, этим — по его собственному призна-

* Не пренебрегайте грамматикой Бутмана (*лат.*).

нию — он был обязан следующему обстоятельству. Попечитель Бороздин¹³, которому он очевидно был рекомендован профессором Грефе, призвал его к себе и предложил помочь барону Розенкампфу¹⁴ в его работе по изданию Кормчей книги¹⁵, взамен чего освободил его от слушания некоторых лекций. Это было, по всей вероятности, в 1829 или 30 году; очевидно, молодой студент уже обратил на себя внимание как способный и знающий классик.

Его работа состояла в том, чтобы переписать из древней рукописи греческий текст Иоанна Схоластика¹⁶ (извлечение из Новелл Юстиниана¹⁷), привести en regard^{*} славянский перевод его из рукописи XIII века, а под строкой латинский, сличить основной текст с другими редакциями и наконец описать самую рукопись. Работа Печерина составила одно из приложений во 2-м издании (1839 г.) «Обозрения Кормчей книги» барона Г.А.Розенкампфа. Предисловие Розенкампфа к этому приложению кончается такими словами: «Над составлением сего приложения трудился Владимир Сергеевич Печерин, молодой филолог, образующийся в С.-Петербургском университете и подающий хорошие о себе надежды»⁷.

В упомянутом выше отрывке Печерин художественно воспроизвел этот эпизод из своей студенческой жизни.

«Где-то, кажется, на Большой Садовой», рассказывает он⁸, «был большой деревянный дом довольно ветхой наружности. Тут жил барон Розенкампф.

Каждое утро, в 8-м или 9-м часу я являлся в его кабинет и садился за свою работу. Это была прекрасная рукопись из Императорской Публичной библиотеки, X или XI-го века. Сколько я над нею промечтал! Я воображал себе бедного византийского монаха в черной рясе. С каким усердием он выполнил и разграфил этот пергамент! С какою любовью он рисует каждое слово, каждую букву! А между тем вокруг него кипит бестолковая жизнь Византии, доносчики и шпионы снуют взад и вперед; разыгрываются всевозможные козни и интриги придворных евнухов, генералов и иерархов; народ, за неимением лучшего упражнения, тешится на ристалищах; а он, труженик, сидит да пишет... «Вот», думал я, — «вот единственное убежище от деспотизма! Запереться в какой-нибудь келье, да и разбирать старые рукописи!».

Около четвертого часа являлся старый, белый, как лунь, парикмахер и окостеневшими пальцами причесывал и завивал поседевые кудри барона. После этого туалет барон вставал, брал меня за руку, и мы отправлялись на половину баронессы к обеду.

Баронесса Розенкампф была женщина лет за сорок или более. Она была очень бледна и какое-то облако грусти висело на ее челе; но видны еще были следы прежней красоты. Она, говорят, блистала при дворе Александра I. Барон занимал важное место: он, кажется был председателем законодательной комиссии. Но с воцарением Николая они попали в немилость и

* Параллельно, рядом (франц.).

жили тогда в совершенном уединении, оставленные и забытые прежними друзьями и знакомыми. Так, разумеется, и быть должно.

«В гостиной стоял великолепный рояль под зеленым чехлом; но баронесса никогда до него не дотрагивалась. На стенах были развешены произведения ее кисти, картины, бывшие некогда на выставке (между прочим, я помню один прекрасный Francesco d'Assisi^{18*}); но эти картины были задернуты каким-то траурным крепом. Баронесса все покинула, все забыла — и живопись, и музыку. Она даже не хотела глядеть на эти предметы, напоминавшие ей лучшее былое. Ее гордая душа вполне понимала смысл этих слов Данте: *Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria!*^{19*}»

«В этом опальном доме господствовала оппозиция. Все действия нового правительства были беспощадно порицаемы. Когда мы читали в *Journal des Débats*^{20*} о первых неудачах русского оружия в Польше^{21*}, барон качал головою и говорил: «Вот видите ли — так и выходит, что Гораций сказал правду: *vis consilii expers mole ruit sua!*^{22*}»

«Редко кто заходил в этот «брошенный забвенью» дом; разве только иногда бывало зайдет А.Х. Востоков^{23*} по каким-нибудь справкам для Кормчей Книги. Только однажды, я помню, было нечто в роде званого обеда. Приглашены были старые друзья барона: пастор английской церкви D-r Law, португальский консул, да еще кто-то третий. По слухам этого обеда баронесса немножко принарядилась, подрумянилась, ее бледные щеки оживились — она была очень мила, так что я почти в нее влюбился. Надобно знать, что, в качестве петербургского юноши, я считал своим священнейшим долгом влюбляться во всякую хоть сколько-нибудь пригожую женщину. — А она меня действительно полюбила чистейшо материною любовью и горячо принялась за мое воспитание. «Ах! Как жалко», говорила она, «как жалко, что в Петербурге нет средств для развития молодого человека!» Я этим ужасно как обиделся. Мне казалось, что мы с нашим академиком Грефе звезды с неба снимаем...^{24*}

«Баронесса принадлежала к чисто романтической школе и ее идолом был Гёте. У нее была прекрасная немецкая библиотека, из которой она ссужала мне книги. «Вот вам *Wilhelm Meisters Lehrjahre*^{*** 25*}», сказала она однажды: «уверяю вас, что нет лучшей книги для окончательного развития молодого человека»...

Знакомство с Розенкампфами и особенно влияние баронессы оказались для Печерина прямым продолжением уроков швейцарца-гувернера, правда, не столько в смысле политического радикализма, сколько в смысле высокого представления о человеческом достоинстве, о духовной независимости и чистоте личной жизни. В этом доме царили оскорбленная гордость и печаль; пошлости здесь не было места. Эта чистая и строгая, в своем роде

* «Тот страждет высшей мукой, кто радостные помнит времена в несчастии» (*итал.*).

** «Падает невольно сила без разума» (*лат.*).

*** «Годы учения Вильгельма Мейстера» (*нем.*).

очень культурная атмосфера должна была благотворно влиять на впечатлительного юношу, а общение с баронессою, ее наставления, руководство в чтении, без сомнения, облагораживали его вкусы и способствовали его умственному развитию. Позднее Печерин называл баронессу своею спасительницей: «Она решительное на меня имела влияние. Она окончила мое воспитание».

Разумеется, революционный энтузиазм Печерина — несмотря на «оппозицию», господствовавшую в доме Розенкампов — не находил себе здесь пищи, и в этом смысле Печерин, убаюкиваемый романтизмом баронессы, «начинал уже дремать» — мечтал найти убежище от деспотизма в уединенной келье, за старыми рукописями. «Но вдруг, — пишет он, — раздался громовой удар, разразилась гроза июльской революции²⁶. Воздух освежел — все проснулись — даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Словно дух святой снизошел на них. Начали говорить каким-то новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека, и пр. и пр. Да чего уж тут не говорили! Даже Николаю приписывали либеральные стремления! Рассказывали, что когда пришло известие о падении Карла X²⁷, государь позвал наследника и сказал ему: «Вот тебе, мой сын, урок! Ты видишь теперь, как наказываются цари, нарушающие свою присягу».

И мы этому добродушно верили. *Sancta simplicitas!** — с тех пор я более уже не засыпал»²⁸.

Мы сейчас увидим, где слышал и вел эти речи о свободе и правах человека молодой Печерин; но предварительно надо сказать, что в феврале 1831 года он блестяще окончил университет, один из всего выпуска со степенью кандидата. К этому времени, по-видимому, закончилась и его работа у барона Розенкампфа, который вскоре затем (в апреле 1832 г.) умер⁹.

II

«Желание лучшего мира»

Начало тридцатых годов было кануном того умственного движения, которое позднее, к концу этого десятилетия, определилось как философский идеализм. В первой своей стадии — в 1830—34 годах — оно носило ту форму, которая и вообще присуща юношескому возрасту, а в данный период с особенной силой обусловливалась и духом времени, — форму романтической мечтательности. В 1834 году Никитенко писал в своем дневнике, что под давлением жестокого политического гнета все благородные чувства молодого поколения роковым образом превратились в мечты, лишенные всякого практического значения. Действительно, духовная энергия

* Святая простота (*лат.*).

лучшей, идеалистически настроенной части молодежи тратилась на восторженное, прекраснодушное волнение в атмосфере крайне туманного идеализма. Ближайшим образом это явление объясняется, конечно, невыносимыми условиями тогдашней действительности, осуждавшей на полную безнадежность всякое стремление воплотить в жизни даже элементарнейшие запросы развитого общественного сознания. Но главной причиной была, без сомнения, та, которую так верно определил Д.Н.Овсянико-Куликовский¹⁰, — та восторженная чувствительность, которая составляла основную черту «психологического типа» людей 30-х годов^{29*}. Поколение, увидевшее свет около 1810 года, то есть сверстники Печерина, в молодости своей являет зрелище столь бурной экзальтации, какой мы не видим ни в одном из предшествовавших или следовавших за ним поколений. На почве этой экзальтации складывался юношеский идеал людей 30-х годов. Это была возвышенная мечта о нерасторжимой связи между человеком и космосом, о красоте, наполняющей космос, о божественном достоинстве человеческой личности, о долгे сохранять в себе незапятнанной эту божественную сущность и содействовать ее проявлению во всем человечестве. Как само собою понятно, этот идеал был чужд всякой национальной окраски. В политической области он порождал временами чисто платоническую ненависть к деспотизму и восторженное обожание свободы, но и то, и другое в ту пору носило вполне космополитический характер. Эти юноши, как вспоминал позднее Герцен, со всем огнем любви жили в сфере общечеловеческих вопросов, придав им субъективно-мечтательный цвет^{30*}.

Естественно, что оракулом этой пылкой молодежи должен был стать Шиллер, этот призванный глашатай юношески восторженного и туманного идеализма, поэт-космополит, зовущий в бой против тиранов. Он действительно был их кумиром, как свидетельствуют тогдашние письма Станкевича, Белинского, Огарева, Герцена и др. Герцен рассказывает, что он и Огарев разбирали, любили и ненавидели лица шиллеровских драм не как поэтические образы, а как живых людей, — мало того, видели в них самих себя: «мой идеал был Карл Мор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу»^{31*}. «Resignation»^{*} ^{32*} Шиллера, по словам Анненкова, была у Станкевича на уме и на языке почти беспрестанно. В каком направлении влиял на них Шиллер, можно видеть из позднейшего (1839 г.) показания Белинского, что «Разбойники», «Коварство и любовь» и «Физско» породили в нем вражду к общественному порядку во имя абстрактного идеала общества — идеала, оторванного от всяких географических и исторических условий^{33*}. Их напряженная мечтательность питалась и, вместе, отправлялась Шиллером. То, что для них было только надеждою, сладкой мечтою, явно неосуществимой, но без которой они не могли жить, — то Шиллер провозглашал непреложным законом. Жизнь мрачна, безрадостна, произвол и насилие царят на земле,

* «Отречение» (нем.).

И куда печальным оком
Там Церера ни глядит —
В унижении глубоком
Человека всюду зрит;^{34*}

но не смущайся видимым: знай и верь, что подлинный образ человека божественно прекрасен и что радость — закон бытия. В этой глубокой убежденной вере — сущность поэзии Шиллера и секрет ее обаяния. Для юношей 30-х годов она являлась как бы декларацией неотъемлемых прав человека. Они жадно впитывали в себя и это царственное презрение к эмпирической действительности, и эту непоколебимую уверенность, что свобода, красота и счастье составляют единственную подлинную реальность в мире.

Так креп их идеализм на Шиллере — и так отчуждались они от жизни. Они нечувствительно приучались ставить поэтические создания на одну плоскость с насущной действительностью и вследствие того требовать от последней тех конкретных черт, в какие поэт облек свой идеал. Это очень обыкновенная ошибка, постоянно наблюдаемая в отношении молодости к романтическому элементу в искусстве. Такое незаконное смешение реального в высшем смысле с эмпирическим представляет собою одну из самых опасных болезней роста; оно ставит человека в совершенно ложные отношения к миру, и часто, в особенности у женщин, укореняет навсегда своего рода психический дальтонизм, портящий иногда всю жизнь. Юноши 30-х годов все были заражены этой болезнью, и в несравненно более острой форме, чем современная нам молодежь; всем им пришлось потом с мучительными усилиями освобождаться от власти «фантазий» и вырабатывать в себе трезвый взгляд на жизнь. Повального недуга не избег даже острый ум Герцена, в кружке же Станкевича это поветрие свирепствовало с наибольшей силой. Лет 18—20-ти Станкевич и его друзья смотрели на Теклу^{35*}, как на портрет, списанный с живой модели; отсюда двойная ошибка: в первый момент они в любой девушке готовы были узнать эту самую модель, во второй — когда оказывались кое-какие уклонения от модели, они приходили в отчаяние, проклиная весь мир и торжественно давали обет не вступать в компромисс с действительностью. И так во всем. Образовалось как бы два мира: мир чудных «призраков», где все было гармонично и радостно, — и грубая, оскорбительная действительность. Отсюда развивалася — не пессимизм, а упрямая непримиримость с реальным; а так как горячее сердце непрерывно влекло в эту самую реальность, то юные идеалисты беспрестанно и пребольно обжигались. Легко они чувствовали себя только внутри того магического круга, который они обвели вокруг себя. Их духовным вождем был Шиллер, в меньшей степени — Шекспир и Гёте. Поэзия, театр и дружба наполняли жизнь, что, впрочем, не мешало юным романтикам и танцевать на вечеринках, ухаживать за барышнями и шалить по-мальчишески.

В 1831 году Печерина на первый взгляд, вероятно, трудно было бы отличить от Станкевича, Герцена, Огарева и др. Какой-то провинциал, посетивший в этом году и лично не знакомый с Печериным, сохранил нам в одной строке такую характеристику его — без сомнения, со слов общих знакомых: «он обожает Шиллера и живет в мире идеалов» — и только¹¹. Ему тем естественнее было стать мечтателем, что он был одарен незаурядным поэтическим талантом. Как раз в это время он много переводил из Шиллера, помещая свои переводы в «Сыне Отечества»: с февраля по апрель 1831 г. он напечатал переводы «Sehnsucht», «Das Mädchen aus der Fremde», «Dithyrambe» и «Die Sänger der Vorwelt»*^{36*}. После переводов Жуковского это, без сомнения, самые художественные переводы из Шиллера на русском языке. Знаменателен уже самий подбор пьес, привлекавших внимание Печерина; но лучшей характеристикой его настроения в эту эпоху является стихотворение «Желание лучшего мира» («Sehnsucht» Шиллера), о котором он тогда же писал своей кузине¹²: «Хотя это только перевод стихотворения Шиллера, оно вылилось у меня из глубины души».

Ах! Из сей долины тесной,
Хладно покрытой мглой.
Где найду исход чудесный?
Сладкий где найду покой?

Он грезит об ином мире, где не веют зимние бури, где не вянут цветы, где звучит музыка райских лир и пение чистых духов:

Но увы! Передо мною
Воды яростно шумят.
Грозною катясь волною:
Дух мой ужасом объят.
Вот челнок колышут волны...
Но гребца не вижу в нем!..
— Прочь, боязнь! надежды полный,
В путь лети! Уж ветерком
Паруса надулись белы...
Веруй и отважен будь:
В те чудесные пределы
Чудный лишь приводит путь!

Эти грезы о чудесной стране, куда приводит лишь чудесный путь, были у него общи со всею лучшей частью его поколения. Но, как будет видно из дальнейшего, одна сторона этого всеобъемлющего идеала с особенной силой владела его душою: именно тот абстрактный героизм, в котором каялся позднее и Белинский. К этому предрасполагали его и страсть натуры, и влияния отроческих лет. В начале 1832 года Никитенко так характеризует Печерина: «Это человек с истинно поэтическою душою. В нем все задатки

* «Желание», «Дева с чужбины», «Дифирамб», «Певицы минувшего» (нем.).

добрости, но еще нет опыта в борьбе со злом. Выйдет ли он в заключение победителем из нее?» — Печерин был не из тех людей, которые, как Никитенко, довольствуются кропотливым выпалыванием зла: он, как гаршинский безумец, жадно искал «красный цветок» всемирного зла^{37*}, чтобы ценою мученичества вырвать его с корнями —

И к цели высшей бытия
Ленивую громаду передвинуть.

Два типа, в которых искони воплощается идеализм!

Нет сомнения, что Печерина уже в это время минутами охватывала уверенность в его высшем, исключительном призвании. Так обаятельна была мечта о «лучшем мире», так страстно хотелось отдать жизнь за осуществление этой мечты, что полнота чувства рождала вдохновение: я освобожу мир, я верну на землю свободу и радость, — сам Бог призвал меня для этого. Это чувство чрезвычайной миссии было присуще не одному Печерину. Накануне женитьбы Огарев пишет своей невесте: «Я чувствую, что Бог живет и говорит во мне; пойдем туда, куда зовет нас Его голос. Если я имею довольно души, чтобы любить тебя, наверное я буду иметь довольно силы, чтобы идти по следам Иисуса — к освобождению человечества...»; и позднее, вспоминая юношеские годы, он пишет Герцену: «Мы вошли в жизнь с энергическим сердцем и с ужасным самолюбием и нагородили планы огромные и хотели какого-то мирового значения; право, мы тогда чуть не воображали, что мы исторические люди». Они в самом деле считали себя избранными сосудами или орудиями Божества и наивно верили, что судьба, ведущая остальных людей гуртом, нарочито и в отдельности внимательно занята ими. Бакунин говорил Станкевичу, что каждый раз, когда он возвращается откуда-нибудь домой, он ждет у себя чего-нибудь необыкновенного; когда в 1835 году Герцен переправлялся чрез Волгу на дощанике и последний начал тонуть, 23-летний идеалист, струсив в первую минуту, тотчас успокоил себя: *quid times? Caesarem vehis!**^{38*} — *нелепо*, чтобы он мог погибнуть, ничего не сделав, — и где! между Услоном и Казанью! Приведя слова Огарева (половины 30-х годов): «мой *fatum*** написан рукой Бога на пути вселенной: он неизменен», Анненков замечает: «Легкость, с которой он, и Герцен постоянно призывали само Провидение на вмешательство в их дела, как бы в виде своего доверенного и уполномоченного лица, всего лучше объясняет восторженное состояние как их самих, так и вообще той эпохи. Черта эта была у них общая со многими сверстниками из других лагерей. Станкевич, Грановский, В. Боткин^{39*}, Белинский, так же точно, как К. Аксаков и др., одинаково считали себя орудиями высших сил и пытались сдержать себя в надлежащей чистоте, приличной избранникам Про-

* Чего боишься? Ты везешь Цезаря! (лат.).

** Судьба (лат.).

мысла». Мы увидим дальше, какую большую роль играло это чувство в душевной жизни и судьбе Печерина.

Но уже в эти самые, ранние годы оказывается в Печерине и другое душевное устремление, имевшее общий корень с тем романтическим героизмом, но противоположное ему. Очевидно, временами героическая жажда подвига во имя мечты сменялась другим чувством. Одновременно с переводами из Шиллера, в марте 1831 года, Печерин напечатал в «Сыне Отечества» статью о трагедиях Софокла¹³, очень замечательную вообще для того времени и особенно для молодого филолога, только что покинувшего школьную скамью. Основная мысль, которую он находит в трагедиях Софокла, — глубокое сознание ничтожности всего земного, соединенное с почти религиозной верою в бессмертие; гармонические стихи Софокла кажутся ему «отголосками иного, лучшего мира». Разобрав «Антигона», он кончает так: «В заключение скажу: чем более углубляемся в сию трагедию, тем более проясняется горизонт перед нами; жизнь земная, со всем ее волнением, остается позади нас; пред очами нашими развивается постепенно новый, прекрасный мир; некое кроткое сияние, некая священная тишина окружают путника; земные оковы его распадаются, и дух свободный, окрыленный парит в жилища горние». Ту же идею он находит в «Аяксе»: когда Тевкр, наконец, призывает родственников предать погребению тело Аякса, так как все уже кончено, — «мне кажется, — пишет Печерин, — я вижу, как волнение жизни постепенно утихает, как все земное распадается в прах, как возникает новый, прекрасный мир, немерцающим светом озаренный»; и, заключая свою статью, он говорит: «Так окончил великий Софокл свое бессмертное творение; так поступает и всякий истинный трагик, представив очам зрителя борение человека с судбою; он, как провозвестник неба, приподнимает, наконец, перед ним завесу лучшего мира, и в отдалении, кротким светом озаренном, показывает осуществленным в действительности то, что здесь, в юдоли слез, живет, как светлая идея, в сердце мужа благочестивого, исполненном веры, надежды и любви».

В этих строках мечта прямо противопоставлена действительности. Лучший мир отражается на земле только как «светлая идея»; если ты любишь его, если хочешь приобщиться его — уйди из жизни, пренебриг ее суетными соблазнами, и отдайся всецело созерцанию своей небесной мечты. Это — то самое чувство, которое внушало Печерину за текстом Иоанна Схоластика грезу об уединенной жизни с греками и римлянами. Так уже в это время боролись в Печерине два противоположные влечения: отдать жизнь за осуществление мечты — и уйти из мира для того, чтобы сохранить мечту в целости и чистоте. Скажу заранее: эти два влечения определили весь его жизненный путь. Он следовал сначала одному, потом другому, и в этом раздвоении его личность оставалась совершенно цельна, потому что оба они были устремлены к одной цели — к мечте о «лучшем мире», и потому что оба требовали всего человека безраздельно. А ему только того и нужно было: отдавать себя всего за видение; середины он не знал.

Но это все было еще впереди, а пока молодость брала свое. Зародыши,

носившиеся в воздухе, уже оплодотворили предрасположенную к ним и подготовленную воспитанием натуру — уже образовалась завязь будущей трагедии, но неизбежное еще не овладело человеком. В ближайшие годы кажется даже, что Печерину удастся уйти от своей судьбы. По крайней мере, некоторое время она дает ему наиграться.

III

«Святая пятница»

До нас дошли два письма Печерина к его кузине^{40*} от 12 февраля и 6 апреля 1831 года¹⁴. Они рисуют Печерина приятным молодым человеком петербургского пошиба, с байроническим оттенком и не без склонности пококетничать своими служебными и литературными успехами; они очень напоминают ранние петербургские письма Гоголя^{41*}.

Первое письмо — ликующее.

«Конец благополучну бегу!

Спускайте, други, паруса!

«Наконец, курс кончен и я получил степень кандидата. Для исполнения моих желаний теперь остается только, чтобы меня послали за границу, что и совершится безотлагательно, если этому не помешает какой-нибудь чрезвычайный случай. Очаровательная перспектива будущего смягчает грусть, которую я испытываю при мысли, что мне придется покинуть отчество, не простившись с теми, кого люблю. Едва ли нам можно будет увидеться раньше трех лет». Дальше он сообщает о своем времяпрепровождении: «Освободившись от всякой обязательной работы, я теперь отдыхаю и бездельничаю. Однако этот образ жизни не в моем характере: бездеятельность, как бы она ни была кратковременна, заставляет меня чувствовать ужасную пустоту в душе. — На прошлой неделе я видел в театре нашу знаменитую комедию «Горе от ума»¹⁵. К сожалению, игра наших актеров не может удовлетворять человека со вкусом. Как вам нравится «Борис Годунов»? Мне он совсем не нравится: это отрывки из русской истории, а вовсе не поэтическое произведение, достойное этого имени. Если вы читаете «Сын Отечества», может быть вы встретите в ближайшем номере, имеющем выйти в конце этого месяца, мою статью, озаглавленную «Взгляд на трагедии Софокла: Аякс и Антигона». Говорю: может быть, потому что напечатать ее или нет — зависит от г. Грече^{42*}; но он мне обещал это. Мы, петербуржцы, с нетерпением ждем выхода в свет нового романа Загоскина: «Рославлев или Русские в 1812 году». Я читал отрывок из него в «Телескопе», и он показался мне очаровательным. По истине, Загоскин — новый Прометей, сумевший уловить божественную искру русской народности: душа воспламеняется, сердце бьется, когда видишь утраченные черты подлинного национального характера.

Негде вам склонить главы,
Бедные сыны России!
Гибнете под игом вы
Чужеземной тирании!

Где ты, где, святая Русь?
Где отцов простые нравы?
Где живые их забавы?
Ах! куда ни оглянусь —
Племя хладное, чужое
Подавило все родное...
Где ты, где, святая Русь?

Этот отзыв о Загоскине и эти стихи очень любопытны, как отголосок того националистического романтизма, которым в двадцатых годах питалось у нас вольномыслие (таковы «Думы» Рылеева и пр.). Очевидно, революционное настроение Печерина одно время держало его в этом круге идей.

Второе письмо привожу целиком.

«Дорогая кузина и друг! Премного благодарен за ваши два прелестные письма, которые оба дышат самой нежной дружбой... Ах! чем более я узнаю свет и людей (увы! я ужевижу жизнь во всей ее наготе), тем более я убеждаюсь, что только лицо вашего пола может нам быть истинным другом. Не примите этого за комплимент: это мое искреннее убеждение, это для меня аксиома. Благодарю вас, милая кузина, за ваше нежное ко мне участие... Я боюсь, однако, чтобы беспорядок в моих мыслях не отразился в этом письме. Я так теперь рассеян; ни одного часа не остаюсь на месте: то занятия у попечителя, то по делу у ректора, то на вечере у приятеля. Что всего невыносимее и что мешает мне установить некоторый порядок в своей жизни, — это неуверенность, как разрешится моя судьба: о моем деле еще не представлено государю; произнесенное им да или нет решит все. С другой стороны, отсутствие всякого стеснения в занятиях, сладкая лень и отдых освежают мои силы физические и моральные, ослабленные усидчивой работой, и дают мне возможность наслаждаться удовольствиями, до сих пор мне неизвестными. Два раза в неделю я пользуюсь приятным обществом баронессы Розенкампф, женщины очень умной, и образованной, хотя строгий критик мог бы упрекнуть ее в некотором педантизме. Большую часть времени я провожу в обществе одного из моих добрых товарищей и его прелестной невесты; я очарован их счастьем, но нисколько им не завидую: я не женюсь так скоро. Я уже познакомился со светом, но тем не менее думаю, что только в женщине можно найти истинного друга. «Несчастный! — сказал бы я одному из себе подобных, — ты хочешь усмирить бурю своего сердца на груди друга, как будто последний не испытывает такой же бури! Нет! только нежная и кроткая душа женщины способна внести мир в сердце мужчины, этой жертвы страстей и превратностей судьбы!»

«Нет! милый друг, мне невозможно будет повидаться с матушкой до моего отъезда, и гораздо лучше, если она увидится со мной после моего возвращения, когда я буду повышен чином и буду иметь более прав на уважение со стороны общества.

«Какая сегодня прекрасная погода, совсем как среди лета. Я во фраке, без шинели, прошелся по Невскому проспекту, до самой Невы; мост уже наведен, и река чиста, как кристалл.

«В №№ 7, 12 и 13 «Сына Отечества» напечатаны мои небольшие статьи и, может быть, появятся некоторые в следующих номерах. Желание лучшего мира, хотя это только перевод стихотворения Шиллера, вылилось у меня из глубины души.

Будьте здоровы, дорогая кузина, и не забывайте преданного вам брата
В.Печерина.

P.S. Вы, может быть, не читаете «Сын Отечества»; поэтому посылаю вам вышепомянутое стихотворение. Статья в прозе о Софокле, по объему, не уместится в письме».

Надежда Печерина на то, что его тотчас пошлют за границу, не оправдалась, и ближайшие два года по окончании курса он проводит в Петербурге. Пользуясь расположением проф. Грефе и попечителя Бороздина, он сразу хорошо устроился: стал старшим учителем при 1-й гимназии, лектором латинского языка в университете и помощником библиотекаря в университете же. Он усердно продолжал свои филологические занятия, без сомнения, под руководством Грефе; у нас есть его собственное показание, что года полтора до отъезда за границу он «должен был почти исключительно заниматься механизмом своего предмета». По-видимому, уже в это время он избрал себе специальность: греческую антологию. На этом предмете молодой петербургский филолог мог сделать тогда блестящую учченую карьеру: греческая антология была и специальностью Грефе, и излюбленной областью античного дилетанства С.С. Уварова, товарища министра народного просвещения. Действительно, стихотворные переводы Печерина из греческой лирики скоро сблизили его с Уваровым, который сам когда-то вместе с Батюшковым занимался переводом антологических стихотворений с греческого⁴³. Среди товарищей Печерин получил кличку «Мелеагра»⁴⁴, имя того греческого лирика, издание которого готовил Грефе и из которого Печерин перевел несколько пьес. Едва ли Печерин заботился о своей карьере; антология, как и вообще античная древность, без сомнения, привлекала его непосредственно: он упивался этой ясной красотой, этим зрелищем светлой, легкой, радостной жизни, где как бы воплотилась его мечта о «лучшем мире». И действительно, может быть, ни в каком другом памятнике не сохранился так свежо, как в обломках греческой лирики, лучший цвет этой жизни — задушевность и грация чувства, свобода взирения на мир, благородное самосознание личности. Печерин перевел в этот период и напечатал в разных альманахах¹⁶ около двух десятков «эпиграмм». Вот несколько образчиков¹⁷.

Путник, ты зришь Илион, гремевший некогда славой,
Некогда гордый венцом башен высоких своих,—
Ныне ж покрал меня пепел времен; но в песнях Гомера
Все я стою невредим с медным оплотом ворот.
Мне не страшны, меня не разрушат губительны копья Ахивян:
У всех Греции чад вечно я буду в устах.

Трижды, светильник, тобой поклялась Гераклея — порою
Ночи прийти, — не пришла! Если, светильник, ты Бог, —
О, покарай за измену: когда она с милым резвиться
Будет, — угасни, не дай света утехам любви!

Здесь, под яворов тенью, Эрот почивал утомленный,
К нимфам струящихся вод факел горящий склонив.
Нимфы шепнули друг дружке: «Что медлить? Погасим светильник!
С ним погаснет огонь, сердце палящий людей».
Но светильник и воды зажег: с тех пор и поныне
Нимфы, любовью горя, воды кипящие лют.
(Горячий ключ).

Здесь, венки мои, здесь над двойчатою дверью висите;
Так оставайтесь; не вдруг листья роняйте свои!
Вас окропил я слезами (слезливы влюбленные очи);
Но лишь дверь заскрипит, только лишь выйдет она,
Крупным дождем на главу ее слез моих капли пролейте!
Пускай слезы мои русые локоны пьют!
Огненный взор Александра и весь его лик величавый
Дивным искусством Лизипп в меди сей мощной явил.
Мнится, он, очи на небо вперив, Громовержцу вещает:
«Мне подвластна земля! ты, Зевс, Олимпом владей!»

Труп Леонида кровавый, увидевши, Ксеркс победитель,
Дивную доблесть почтив, сам багряницей покрыл.
Мертвый тогда возгласил спартанский герой незабвенный:
«Нет! не приму никогда должной предателю мзды!
Щит — украшение могиле моей; прочь одежды персидски!
Я спартанцем хочу в царство Айдеса прийти».

Эти образы греческой лирики должны были иметь невыразимое обаяние для Печерина. В них точно приобщаешься к миру нетленной красоты и радости. Этот аромат античности, это предвкушение элизума, никто не умел так выразить, как Шиллер, и не случайно так удался Печерину перевод шиллеровского «Дифирамба»; этот перевод тоже — как и «Желание лучшего мира» — «вылился у него из души».

Боги — поверьте —
Всегда к нам нисходят с Неба толпой:
Бахус едва лишь появится милый,
Входит с усмешкой Амур легкокрылый,
Феб величавый с цевницей златой.

Уж близки, уж входят,
Блистая лучами,
И полно жилище
Земное богами.

Что, земнородный,
Я в дар понесу им —
Дивным гостям?
Боги! даруйте мне век ваш нетленный!
Что могу дать вам я, слабый и бренный?
Ах! вознесите меня к небесам!

Веселье живет лишь
В Зевса чертоге, —
Вы с нектаром чашу
Мне дайте, о боги!

Дай ему чашу,
Геба! Поэту
Нектар возлей!
Очи омой ему чудной росою,
Да не трепещет пред Стикса волною,
Да просияет, как Бог, меж людей!

Источник небесный
Шумит и играет,
И сердце спокойно,
И око сияет!

Вот видение, очаровавшее Печерина. Он был из тех, что всю жизнь тоскуют по небесной родине.

Эти два года в Петербурге после окончания курса Печерин прожил легко и беззаботно. Утром — служба: уроки в гимназии, чтение латинских авторов со студентами, работа в университетской библиотеке; дома — собственные филологические занятия, чтение, стихи; вечер — с друзьями, вечеринка в знакомом семействе, а всего чаще театр. Театр был его страстью, как и всей тогдашней молодежи. С представления «Ричарда III» он возвращается домой с опухшими руками: на зло сонной публике «он не жалел их для великого Шекспира». Но что занимало главное место в его жизни за эти два года — это «святая пятница», — кружок университетских товарищей, собиравшийся по пятницам в квартире А. В. Никитенко.

Я не встречал других сведений об этом кружке, кроме немногих записей в дневнике Никитенко. Между тем он заслуживал бы специального исследования, как единственное *петербургское* подобие знаменитых московских кружков того времени. Он возник раньше, чем московские кружки, — в 1829 или 1830 году, — и носил тот же характер, какой носили в первое время и они; но в нем с самого начала, за исключением Печерина и, может

быть, Чижова^{45*}, не было крупных личностей, и он до конца сохранил форму обыкновенных товарищеских вечеринок. Но и в этом виде он оказывал, без сомнения, большое воспитательное влияние на своих участников. Среди тогдашнего петербургского общества (я разумею средние круги его) — сонного, равнодушного ко всему высокому, занятого только материальными интересами, эти дружеские собрания в двух маленьких комнатах старшего летами друга, в Семеновском полку, являлись настоящим оазисом. Здесь царствовали непринужденность, идеализм и поэзия; горячие споры о театре сменялись чтением стихов, вслух высказывались утопические мечты о будущей деятельности на пользу человечества, высмеивалось мещанство общества и, конечно, больше всего с горечью обсуждалось политическое состояние России — тогдашней злобы дня, как усмирение бунта военных поселян, польское восстание, гнет цензуры, запрещение «Европейца»^{46*} и пр. Никитенко оставил нам живые характеристики обычных завсегдатеев своих пятниц 1831—35 годов — ближайших друзей Печерина. Вот Гебгардт, Иван Карлович. Он служит в иностранной коллегии и преподает математику в Павловском корпусе и в частных домах. «Он одарен удивительно гибким, блестящим умом и редким даром слова. Ум его рассыпается в тысячах блестящих искр, и каждая искра или светит, или жжет. Особенно хорош он в быстрых, летучих, неожиданных эпиграммах, которыми уязвляет пошлость и невежество нашего общества. Чувствуя в себе силы на высшую деятельность, он грустно влечит дни свои по темным и грязным переулкам чиновнического быта — и это съедает его, ибо с таким блестящим умом нельзя не иметь честолюбия. Ему еще тяжелее от того, что он, по свойствам своего ума, неспособен к упорной, усидчивой кабинетной деятельности: ему необходимы воздух и пространство». Его стихия — политика; «но, как умный человек, — замечает Никитенко, — он должен понять, что у нас нет поприща для политической деятельности». Вот М.П. Сорокин^{47*}, один из двух поэтов кружка (другим был Печерин), переводчик Кребильоновой трагедии «Атрей»^{48*}, при постановке которой на сцену, 30 ноября 1831 года, друзья, заняв места в разных рядах кресел, сыграли роль клакеров — неистовыми аплодисментами и криками расшевелили публику и добились того, что переводчик был вызван. Вот Чижов, будущий славянофил и делец, теперь еще готовившийся занять кафедру математики в университете, — сильный, сдержанный человек с ясным, методическим и точным умом. С этими тремя, да еще с самим Никитенко, Печерин был, по-видимому, всего дружнее. А дальше идут — Лингвист, бредящий Наполеоном и героями Плутарха, полный «романтических затей о величии», как бы двойник Печерина; слабовольный Поленов, «прекрасную душу» которого Никитенко в 1832 году «спас для высшей деятельности», убедив его принять место секретаря русской миссии в Греции (Поленов был влюблен в девушку, недостойную его); Михайлов, весельчак и имитатор, развлекавший кружок своими комическими выходками. Был еще один — Попов, застрелившийся в октябре 1832 года, двадцати трех лет от роду. Надо думать, что Печерин был с ним очень близок, и не только по

кружку, но и по общности научных интересов (Попов был историк), и по службе, так как оба преподавали в 1-й гимназии, и по лингвистическим занятиям: Попов, как и Печерин, знал множество иностранных языков, и на новейших говорил как на своем собственном; «кажется, не было такого литературного произведения, с которым бы он не был близко знаком», говорит Никитенко. Он обладал, по словам того же Никитенко, блестящим умом и богатой фантазией, но не имел «ни определенной цели стремлений, ни сосредоточенности в силах, чтобы положительной деятельностью спасти себя от внутреннего недовольства; недовольство собою все росло, а когда любимая девушка отвергла его — «он подумал, что над ним совершился акт отвержения от всего человеческого», и застрелился. Еще накануне он с товарищами пробыл у Михайлова до второго часа ночи, был весел, остроумен, пел, а на другой день, уйдя из дома, пропал; его искали три дня — «мы с Печериным томились тяжелым предчувствием»; только на четвертый день нашли — его могилу. Его смерть произвела на друзей потрясающее впечатление. Нет сомнения, что она была поставлена на счет режиму — и очень справедливо: человек буквально задохнулся.

Из дальнейших писем Печерина будет видно, как преданно он любил свою «святую пятницу» и с какою нежностью вспоминал потом о друзьях. Кружок Никитенко несомненно дал большое влияние на Печерина. Много лет спустя, уже забыв, в какой день происходили эти собрания, он все еще хранил благодарную память о них. «Я считаю вас в числе моих спасителей, — писал он тогда Никитенко. — Не будь вы, я может быть погряз бы в пошлости обыкновенной петербургской жизни. Вы протянули мне руку, вы призвали меня на ваши вечера, вы сохранили священный огонь в душе моей. Как же мне забыть эти вечерние беседы (по вторникам, кажется) там где-то в глухи, позади старого университета, близ Семеновской площади. Там-то развилась моя судьба». Но этот кружок любопытен для нас не только по влиянию, которое он должен был иметь на Печерина: важно и то, что он ярко освещает типические черты в характере последнего. Гебгардт, Лингвист, Попов сделаны как бы из того же теста, что Печерин: они все оторваны от почвы, закон тяготения едва действует на них — они полны эфирности; отсюда их восторженность, непрактичность и утопизм. Московские юноши, нагрузив свой ум философией, заставили себя осесть на землю, но точно так же до конца не научились ходить по земле. Эту черту эпохи надо помнить — иначе нельзя понять Печерина.

Раз в год, в первой половине февраля, кружок собирался на праздничный обед: это была годовщина окончания университета¹⁸. Участвовали обыкновенно, кроме членов кружка, еще несколько бывших студентов одного выпуска с Никитенко, в общем человек 15—20. Собирались в ресторане, распорядителями были Поленов или Гебгардт. Неизменно, как на лицейских годовщинах Пушкина, кто-нибудь из присутствовавших читал приветственные стихи. Провозглашались тосты, шампанского не жалели: Гебгардт «искрился не меньше шампанского», Поленов и Михайлов шалили и дурачились; и вечером, вернувшись в свою ученную келью, растроган-

ный Никитенко записывал в свой дневник: «Взаимное доверие одушевляло всех. Жар чести, свойственный юности, еще не угас в наших сердцах. Никто из членов нашего братства еще не очиновничился».

Печерин участвовал, очевидно, в трех таких обедах: 1831-го, 32-го и 33-го годов. В последние две годовщины он читал официальное стихотворение — раньше эту обязанность исполнял Сорокин. До нас дошли в собственоручных рукописях Печерина бумаги, относящиеся к февральскому празднеству 1833 года. Первая — шутливое «прощение», очевидно утром этого дня посланное Печериным к Никитенко в канцелярию цензуры.

«Господину Главному Президенту Пятницы Лорду Никитенко. От Лорда Поэта Печерина. Привыкнув писать древним *стилем*^{49*}, лорд поэт доселе не выучился чинить порядочно романтических *перьев*; и вследствие того просит покорнейше лорда почтеннейшего Президента приказать выдать из собственной канцелярии *два хорошо очищенных пера* для переписки набело официального стихотворения, имеющего быть прочтеным сего 10-го февраля в торжественном заседании Пятницы. — С достодолжным почтением к вам, многопочтенный и высокий лорд! имею честь быть вашим другом и согражданином Лорд Поэт Печерин. 10-го февраля 1833 г.».

А вот и самое стихотворение, прочитанное Печериным в этот день. По нем можно судить и о содержании стихов, читанных им за год перед тем. Он призывал тогда не падать духом, напоминал победы греков в борьбе за свободу; теперь он не смеет говорить о надеждах; в его словах звучит уже знакомая нам безнадежность, знакомый нам призыв — уйти, уединиться со своей мечтой, хранить ее в чистоте; и снова он вызывает в своем воображении светлый мир Греции, где его мечта была действительностью. Двух отсутствовавших друзей он почтил приветом: Попов был в могиле, Поленов — в Греции.

10 февраля 1833.

Было время — я пред вами,
Полный сладкими мечтами.
Други, пел и ликовал:
Вы с улыбкой мне внимали,
И певца вы увенчали.
И шипел пред ним бокал.

От треножника Пифии
Вам пророчества святые
Из Элады я принес...
Не сбылися предсказанья!
Нет отрадного сияния,
Не светлеет свод небес!

Все мрачнее и мрачнее
Тучи ходят над главой;
Все дружнее и дружнее
Мы теснимся в круг родной.

Скажите: для кого здесь, одинок,
Стоит сей кубок полный?
Для чьей главы сей миртовый венок?
Кого еще ждет сонм друзей безмолвный?

Напрасно! не придет уж он!
Не сядет с вами гость любезный!
Его могучий держит смерти сон,
Рукою обхватив железной!

О! молю тебя, молю: явися
К нам в торжественный сей час!
С высоты эфира ниспустися,
Осени крылами нас!

Легким крылий трепетаньем
Заструи в кубках вино,
И воздушных уст лобзаньем
Освежи друзей чело!

Прикоснись устами чаши
И вина заветного испей,
И в сердца печальны наши
Замогильной жизнию повей!

А! ты здесь!.. и на челе сем стройном
Потускневший юности венец,
И в улыбке кроткой и спокойной
Я читаю грустный твой конец!

Гость минутный! как ты рано
Пир оставил жизни сей!
Как сурово и нежданно
Ты отторгнут от друзей!
Агнец кроткий наш! ты пал безгласный
Под секирой рока самовластной!

Тебе привет,
Архитриклиний наш почтенный,
Хораг^{50*}, наставник наш — певец!
К тебе, товарищ незабвенный,
Привет любви исполненных сердец
Летит чрез волны отдаленны
Туда, — на берега священны
Греции...

Греции?.. Кто снова жизни силы
В звук давно замерший влил?
Кто из рабственной могилы

Нам царицу воскресил?
Греция! твой древний мир чудесный
Мне предстал с волшебною красотой:
Кроткий свет объемлет свод небесный,
И все полно сладкой тишиной...

Слышу звон кифары и припевы,
И певца божественного глас;
Стройно пляшут юноши и девы;
Радостью колеблется Парнас.

Там источник жизни бьет прозрачный,
Там, друзья, спешите отдохнуть!
Там от жизни века душной, мрачной
Освежите и омойте грудь!

Не прочен современности кумир,
И вы колен пред ним не преклоняйте!
К свободе гордой вы прекрасный мир
Из тленных хартий вызывайте!

И в поте вашего лица
Трудитесь верно и терпите
На ниве Божьей до конца
И мэды земной себе не ждите!

Настанет час — из недр земли взойдет
Благое семя, брошенное вами,
Главу подымет к небу, и ветвями
Потомков дальних обоймет!

Из дневника Никитенко видно, что члены кружка беспрестанно сходились и помимо пятниц и официальных торжеств, — то друг у друга, то в театре, то в знакомых семействах. Тогда в учительском кругу, к которому преимущественно принадлежали члены «пятницы», были в моде семейные танцевальные вечера — «балы» по-тогдашнему, как теперь разговорные журфикссы. Чаще всего наши приятели собирались, по-видимому, в двух домах, у двух педагогов немецкого происхождения: инспектора классов в Смольном монастыре Германа и учителя математики Буссе. Украшением этих вечеров являлись воспитанницы старших классов Смольного института; старики, то есть педагоги старшего поколения, беседовали о производствах и орденах, а молодежь танцевала, дурачилась и ухаживала — часов до пяти утра¹⁹. Печерин был, по-видимому, в числе самых рьяных танцоров. Особенно веселился он в последнюю зиму, проведенную им в Петербурге. В эту зиму он влюбился. Судя по намекам, это была смольянка и звали ее Софьей; впереди мы еще не раз встретимся с нею. Я приведу сохранившиеся в рукописи стихи Печерина, в которых рисуется эта сторона его тогдашней жизни: балы у Германа и Буссе, разговоры за танцами,

влюбление, случайно оброненные Софьей слова, что она хотела бы умереть (он надолго запомнит эти слова, мы это еще увидим), выпуск в Смольном монастыре, производивший сильное впечатление даже на тихого Никитенко... Все эти стихи написаны в феврале 1833 года, частью в те дни, когда Печерин уже знал о предстоящем ему вскоре отъезде за границу.

Б а л

(В воспоминание 8 февраля)

Звон приятный цитры раздается,
И поет незримый хор;
Стройными кругами вьется
Юношей и дев собор.

На их лицах упоенье,
В каждой фибре огнь живой...
Но бегут, бегут мгновенья...
Время быстрое! постой!

Как в тумане, догорают
Свечи все тусклей, тусклей —
Свечи гаснут — звуки умолкают —
И не стало радостных гостей.

Так отрадные светила
Потухают жизни сей!
Пир окончен — и уныла
Ночь объемлет всех гостей.
Февраля 9-го

Поэтические фантазии *19 февр.*

Н е ч т о

Напрасно буду ждать отрадной встречи
В кадрили, средь гармонии живой,
И долго не слыхать мне русской речи
Из уст пурпурных девы молодой!

* * *

И от кого привет услышу милый?
Кто спросит: «любите ли танцы вы?»
Окончив бал, кому скажу унылый:
«Вы едете? Все кончено, увы!»

Б а л

Приехал и гляжу — дом освящен,
И в окнах легкие мелькают тени;
И слышу, в тесные вступая сени,
И шум шагов и фортепьяна звон.

* * *

И в комнатах, как в летний полдень, ясно,
И дышит все *jasmin, ambré, vanille*^{*};
Как целый мир, и стройный и прекрасный,
Французский развивается кадриль.

* * *

«Здоров ли Александр Васильич? Слух идет,
Что видели Ричарда вы недавно,
И что одни вы хлопали исправно,
А публика вся холодна, как лед?»²⁰

* * *

— От чопорной трагедии французской
Не может наша публика отстать:
В ней нет души и огненной, и русской,
Не ей Шекспира гений понимать!

* * *

«Ах! посмотрите-ка сюда!
Как гаснут свечи здесь уныло!
Так жизни сей отрадные светила,
Блеснув, угаснут навсегда.

* * *

«Что жизнь в сей атмосфере хладной?
Как друга, я б желала смерть найти!
В цветущем юности венке отрадно
В могилу свежую сойти!»

П р о д о л ж е н и е б а л а *Февр. 20.*

Русские романы.

«А новые романы вы читали?
Семейство Холмских?» — Нет! Не мог, ей-ей!
И шесть частей всегда меня пугали:
Прочесть печати русской шесть частей!!

• Жасмин, амбра, ваниль (*франц.*).

* * *

Романов русских, право, я не чтец,
В них жизни мощный дух не веет!
Лежит, как пышно убранный мертвец,
А под парчой все крошится и тлеет.

* * *

Поденщиков я этих ненавижу —
Вы старый мусор свозите, друзья;
Но зодчий где? к чему сей труд, не вижу,
И зданий вовсе не приметил я.

* * *

Всего тут понемножку: и народность,
И выпуск из хроник целый ряд,
И грубая речей простонародность,
На жизнь и в бездны сердца мрачный взгляд.

* * *

Но где ж у вас гигантские созданья
Фантазии могучей и живой?
— А нам к чему? — есть летопись, преданья,
И — с ног до головы готов герой.

* * *

Хотите ли увидеть исполина,
Кто мощно сдвинул край родной?
Смотрите: вот его кафтан, дубина!
Весь как в кунсткамере! весь как живой.

25 фев.

С м о л ь н ы й м о н а с т ы р ь

И так, друзья, как видно, я решился
Излить всю душу в звуках и стихах!
О! если б весь я в звуки превратился
И так же, как они, исчезнул в небесах!
Еще я пил из чаши полной яда!
Но — Боже мой! как сладок этот яд!
За миг один, за два прекрасных взгляда,
Цвет жизни и всю жизнь отдать я рад!
Воздушны пери предо мной мелькали;
Меж них царицею она была;
Мне очи голубиные сияли,
Мне речь ее жемчужная текла.

* * *

Programme
des examens publics à la communauté
imperiale des demoiselles nobles.

*Religion, Histoire, Chant d'Eglise**

Как много есть поэзии глубокой
В программе этой, для иных сухой!
Как солнце в небесах, стоит высоко
Религия над жизнию земной.

А долу — разливаясь, бушует,
Кипит клокочущий поток страстей,
По воле рока буйно торжествует
Секира черни или меч царей.

Но в стройной пляске, светлою грядою
Над миром думы Вечного плывут,
Играют пестрою людей толпою
И свет в пучины вечности лиют.

И навсегда земное умолкает,
И чистых ангелов воздушный строй
Врата небес пред нами отверзает
При звуках арфы, с песнью трисвятой.

Так, в общем легко и весело, катилась жизнь Печерина в Петербурге. «Мечта» не угасла в нем, но она не мучила его; она находила себе выход в стихах, в увлечении античным миром, в дружеских излияниях. Но и среди самой игры минутами, очевидно, находило на него какое-то темное облако, предчувствие своей неизбежной судьбы. Слова любимой девушки, что она хотела бы умереть молодою, поражают его, как свидетельство тайного родства ее души с его обреченной душою, и он вкладывает в ее уста — не жалобу, а трогательное раздумье о смерти²¹. Даже черный цвет ее глаз получает для него символическое значение:

Как могущественна сила
Черных глаз твоих, Адель!
В них бесстрастия могила
И блаженства колыбель.
Очи, очи обольщенья,
Как чудесно вы могли
Дать небесное значение
Цвету скорбному земли!
Прочь с лазурными глазами,

* Программа публичных экзаменов в императорском институте благородных девиц. *Религия, история, церковное пение* (франц.).

Вы, кому любовь дано
Пить очей в лазурной чаше,
Будь лазурно небо ваше. —
У меня оно черно.
Вам кудрей руно златое.
Други милые, — для вас
Блещет пламя голубое
В паре томных нежных глаз;
Пир мой блещет в черном цвете,
И во сне, и наяву
Я витаю в черном цвете,
Черным пламенем живу.

Как сложилась бы жизнь Печерина, если бы он навсегда остался в Петербурге? Его тогдашние друзья, жившие теми же настроениями, что он, — как Гебгардт и Лингвист, — с годами опустились и не оставили никакого следа. Много лет спустя Печерин так характеризовал эти два года своей петербургской жизни: «Я начал жизнь петербургского чиновника: усердно посещал домашние балики у чиновников-немцев, волочился за барышнями, писал кое-какие стишкы и статейки в «Сыне Отечества»⁵¹ и пр. и пр. Но — что гораздо хуже — я сделался ужасным любимцем товариша министра просвещения С.С. Уварова, вследствие каких-то переводов из греческой антологии, напечатанных в каком-то альманахе. Я начал ездить к нему на поклон, даже на дачу. Благородные внушения баронессы Розенкампф изглаживались мало-помалу. Раболепная русская натура брала свое. Я стоял на краю зияющей пропасти...»⁵²

Но вдруг судьба Печерина круто изменилась: «К счастью, — продолжает он, — в одно прекрасное утро (19 февраля 1833), очень рано, министр Ливен прислал за мною и, сделав мне благочестивое увещание в пietистическом стиле, отправил меня в Берлин»⁵². — Это была, говоря казенным слогом, двухлетняя командировка с ученой целью на предмет приготовления к профессорскому званию.

Печерин впоследствии много раз свидетельствовал, что его *с детства* влекло на Запад. Да и могло ли быть иначе? Там грезились свободные народы, изящная жизнь, вечно голубое небо, свет знания, — все то, о чем так тосковала душа в рабской и пасмурной России. И вот, желание сердца осуществлялось — но как некстати! — в самом разгаре упоения баликами, «связаною пятницей» и, главное, в самом разгаре влюблённости!

Но, разумеется, колебаться нельзя было. Две недели спустя, так и не по-видаввшись с родителями, Печерин сухим путем выехал в Берлин. Перед отъездом он зашел проститься к Н.И.Гречу, у которого, как мы видели, он сотрудничал в «Сыне Отечества»; Греч не одобрил его поездки: «Да из чего же это вы едете учиться за границу? Ведь когда нам понадобится немецкая наука, то мы свежего немца выпишем из Германии; а вы так лучше останьтесь здесь, да занимайтесь русскою словесностью». Простился он и с баронессой Розенкампф; она после смерти мужа распродала свою обст-

новку и ютилась теперь в маленькой квартирке. Она встретила его похудевшую, еще бледнее прежнего; «но ее потухшие глаза, — рассказывает он, — засверкали какою-то материнскою радостью, когда она узнала о моем отъезде за границу. С каким жарким участием она меня благословила на новый путь, на новый подвиг! Я в последний раз поцеловал ее руку»²³.

Следующая записка к Никитенко писана, очевидно, в самый день отъезда.

Еще раз прощайте, любезнейший Александр Васильевич! и когда будете у Германа или у Буссе, то вспомните обо мне.

«При сем посылаются вам мои книги под ваше дружеское охранение до моего приезда. А если Судьба иначе расположит — тогда они поступят в библиотеку университета. Еще бы и еще хотел к вам написать; но время лежит — прощайте! Боже мой! Вы и она! Целый мир в двух словах! Ваш Печерин. Марта 7/19, 7 часов утра».

Он простоял двойную дату, словно чувствуя себя уже за границей. Какое-то темное предчувствие тревожило его, и «судьбу» он пишет с большой буквы: так он будет писать ее всю жизнь.

IV

Первые шаги на Западе

Выехав из Петербурга 7-го, Печерин уже 11-го, из Риги, пишет Никитенко пространное письмо. Он еще весь полон петербургских впечатлений, его грызет тоска разлуки. «Первый день — браните меня, как хотите, — я плакал как дитя: все мое блестящее будущее затмилось; я видел только ужасные два года, отделяющие меня от Петербурга... Скажите мне однажды навсегда: равнодушна ли она ко мне или нет? Объясните мне меня самого: была ли это во мне только минутная игра поэтической фантазии, или глубокое чувство, последующее за нами за пределы гроба? Объясните мне наимерение Судьбы: хотела ли она сыграть с нами обыкновенную свою шутку, не ведущую ни к какой цели, или, распределяя судьбы смертных, она вынула из роковой урны вместе наши два жребия, навеки неразлучные?» Он сообщает Никитенко стихи, написанные им в дилижансе 9-го числа: о, милая! быть может, воротясь, я застану вас уже не стыдливою девой, а почтенной и счастливой матерью? — Боже, как я буду рад! Ваш супруг будет не веселый и не угрюмый, а так, как должен быть супруг; с ним беспокойные думы поэта не будут волновать ваш нежный дух. А я, перегорев в слезах и закаленный, как сталь, вашей холодностью, рассыплю светлые искры на льдах отчизны.

Но, несмотря на грусть, он с живым любопытством присматривается к картинам незнакомой жизни, которые развертывает перед ним дорога. Он уже предвкушает изящный быт Запада. Ему нравятся романтическая Рига и легкие кабриолеты, заменяющие там дрожки; он с детским удовольствием

описывает, как диковинку табль д'от^{*} в рижской гостинице, где вместе с ним обедало «человек 8, все иностранцы и люди очень образованные. Подле меня сел один голландец, только что приехавший из Амстердама: он мне делал статистическое описание прекрасных женщин в Голландии и рассказывал об ультрамонтанизме амстердамской сцены... К концу обеда являлся мальчик с арфой, играет польские песни и поет; между тем прекрасная, свежая, полная девушка разносит кофе; я, как русский путешественник, потчую сигарками моего голландца, и мы в беспечном разговоре оканчиваем обед». Он описывает друзьям Ригу, рассказывает о своей остановке в Дерпте, где «товарищи» встретили его с отверстыми объятиями: Это были командированные одновременно с ним за границу, которые вскоре затем и сами тронутся в путь (Пирогов, Редкин, М.С. Кутторга^{53*} и др.); он читал им свои стихи, шампанское кипело в бокалах, «в немного минут много было сказано»; его проводили за город на почтовых и даже прибавили денег к его, очевидно скучному, запасу. Но сердцем он все-таки среди петербургских друзей. «Приветствуйте от меня всю нашу незабвенную Пятницу, всех и каждого. Душеньку Чижова поцелуйте за меня. А Иван Карлович, Иван Карлович (Гебгардт)! Мой маркиз Поза! Ах! опять на языке вертятся Герман и Буссе. И там кланяйтесь от меня! Когда мальчик ударил в струны арфы, я вспомнил экзамены Смольного монастыря, вспомнил звуки фортепьяно у Буссе, вспомнил многое другое...» Он пробыл в Риге всего один день; разумеется, он побывал и в театре, который ему, однако, не понравился. Ночью, вернувшись из театра, он приписывает к письму, и кончает стихами из «Чайльд Гарольда»:

Прости, прости, мой край родной!
Ночь добрая тебе!^{54*}

К письму он приложил еще список своих случайных спутников — «Действующие лица в дилижансе», с характеристиками; среди них и он сам — «Г.Печерин, рыцарь, едущий в Палестину. В своей прекрасной родине он оставил все сокровища своего сердца, а впереди раскрывается мало-помалу перед ним обетованная земля, где сияет ему навстречу вечное солнце Истины».

От Риги его путь лежал на Мемель и Кенигсберг. До Мемеля дорога была скучна, зато переезд от Мемеля до Кенигсберга, по узкой береговой полосе, доставил ему глубокое наслаждение: он тут в первый раз видел море. Это впечатление было так сильно, что не померкло даже через 1 1/2 недели, несмотря на всю новизну позднейших впечатлений; в первом письме из Берлина Печерин с увлечением описывал этот переезд по штранду^{**}. «На пространстве этих 7 миль не встретишь ни одного живого существа: только иногда покажется корабль на горизонте, или белая морская птица пролетит возле берега; вы целый день не слышите никакого звука, кроме

* Table d'hôte — общий стол (франц.).

** Strand — морской берег, побережье (нем.).

однообразного звона вашего колокольчика и плеска волн... Но с вами говорит море, говорит сама природа своим богатым, разнообразным, глубоким языком, тем языком, которого отголоски вы слышали в стройной эпопее Гомера и гигантских драмах Шекспира... Неизъяснимо значителен голос моря! В этом голосе вы слышите и торжественную ораторию эпопеи, и быстрый речитатив драмы, и однообразную мелодию заунывной русской песни... Я в первый раз так близок был к морю и очень полюбил море и внимательно вслушался в говор его светло-зеленых волн. О! я должен совершить это путешествие еще раз, один, пешком! тогда, может быть, еще внятнее будет для меня таинственный голос природы; тогда я без докучных свидетелей вопрошу этот божественный оракул; тогда Изида снимет передо мной свое покрывало...⁵⁵ Надобно сказать, что быть таким образом наедине с природою, есть неизъяснимо сладостное и возвышающее душу чувство. Вы и природа, и более никого! Вы чувствуете себя совершенно отрешенным от человеческого общества; вы свободны от всех уз; на этом пустынном береге вы стоите гордо, как самодержавный царь земли; необримое море расстилается перед вами, как обширные владения, кипящие богатою разнообразною жизнью; бурные волны покорно ложатся у ног ваших. Как хотелось мне в то время быть морскою птицею, свободно парящею над свободною стихией; или кораблем, темнеющим на краю горизонта, или, по крайней мере, пассажиром на этом корабле! — Воздух морской имеет удивительное действие: он как-то удивительно освежает и облегчает человека: в нем вы пьете забвение всех забот жизни, пьете гордое сознание достоинства и свободы человека. Такое же или подобное чувство, вероятно, наполняет тех, которые странствуют по девственным первозданным лесам Америки. Что наша земля в сравнении с морем? Все ее душные города с нестройным их говором, все ее пышные дворцы и роскошные парки я отдал бы охотно за голый берег красноречиво шумного моря». — Но и тут прошлое не покидало его: идя пешком по берегу моря, между тем как лошади медленно тащились по глубокому песку, он предавался воспоминаниям —

И Мемельский залив уединенный
Я русскими стихами оглашал,
И часто имя девы незабвенной
На береге сем безлюдном повторял.

Наконец, 23 марта, пробыв в пути, значит, шестнадцать дней, он приехал в Берлин. Пять дней спустя он садится писать в Петербург, и начало его письма почти так же грустно, как первое письмо из Риги: «Из Берлина приветствую вас, любезнейший Александр Васильевич! и всех вас, незабвенные друзья мои — святая пятница! Приветствую вас грустный, осиротелый... В то самое время, когда волшебный мир созидался вокруг меня, прекрасный мир, населенный чистыми Пери Смольного монастыря и юными друзьями моими, исполненными свежей, поэтической жизни, — в то самое

время мощный Бог исторгнул меня из моего Эдема... Так! кто захочет вку-
сить от древа знания, тот да простится со всеми радостями жизни. Так было
от начала мира! И Бог знает! — вознаградят ли меня горькие плоды этого
древа за наслаждения моего рая! — Вы написали мне в альбом: «принеси
нам свое сердце назад». — О! оно с вами, друзья мои! целое, невредимое
оно пребудет с вами!»

Он посыпает друзьям вид берлинского университета и расписание лек-
ций философского факультета: богатство неслыханное, не знаешь, что вы-
брать! Он уже побывал и в театре — смотрел «Орлеанскую Девственницу»
Шиллера, и очень метко определяет коренную ошибку этой пьесы: Иоан-
на⁵⁶ не может быть героинею драмы, как существо, действующее не само
собою, а по воле высшей силы. Он еще не разобрался в берлинских впечат-
лениях, у него хаос в голове, — и опять он умоляет писать ему, просит, как
росы небесной, хоть одного слова от Ивана Карловича.

После этого письма он не писал почти два месяца. Он успел осмотреть-
ся и освоиться со своим новым бытом; теперь он может дать друзьям обсто-
ятельный отчет во всем, что их интересует. Петербургские воспоминания
отошли на задний план: его письмо дышит восторженным упоением. Он
начинает с подробнейшего описания внешнего вида университета. Ничего
пышного! беспорядочная толпа студентов в вестибюле; старые, закопчен-
ные аудитории, узкие скамьи, изрезанные именами Луиз и Амалий, не-
взрачные кафедры... «Нет! наш университет несравненно выше в этом от-
ношении: как чисто выметены аудитории! скамьи и кафедры как будто се-
годня выкрашены! Любо посмотреть! И какой порядок между
благородным учащимся юношеством. А здесь — сидят в шляпах до прибы-
тия профессора, а иногда и во время лекции, если негде поставить шля-
пы... — Но с этих старых кафедр нисходят слова жизни, которые глубоко
западают в душу и хранятся в ней, как драгоценные перлы на дне моря,
пока буря не вызовет их наружу... В этих мрачных залах сияет солнце *по-
знания*; цветы человеческого духа развиваются в разнообразнейших фор-
мах; под одною кровлею здесь мирно живут самые противоположные мне-
ния».

Он подробно характеризует всех выдающихся профессоров и сообщает
огромные выдержки из их лекций. Вот Стеффенс^{57*}, «оратор-проповедник,
которого громкий голос и живые телодвижения суть невольное выражение
его пламенной души»: он говорит о философии религии, вернее, — о борь-
бе и грядущем примирении религиозного чувства с философским убежде-
нием. Рядом с ним — Геннинг^{58*}, читающий энциклопедию философских
наук по Гегелю, вернейший ученик Гегеля — Михелет^{59*}, Ганс^{60*}, произно-
сящий с кафедры такие афоризмы: «Конституция, данная монархом, не
имеет никакой силы, никакого значения: *сам народ* должен дать себе кон-
ституцию!» или: «Французская революция (1789) есть высшее развитие
христианства, — явление оного столь же важно, как явление самого Хрис-
тата»; Бек^{61*}, читающий энциклопедию и методологию филологических
наук, как философской дисциплины, не имеющей ничего общего с той жал-

кой филологией, «которая занимается буквами, точками и запятыми древних писателей». — Целый мир идей возвышенных, вдохновенных, сущих полную разгадку бытия.

Неудивительно, что Печерин точно опьянял. Мы, люди двадцатого века, даже отдаленно не можем представить себе чувства, с каким юноши 30-х годов переступали порог берлинского университета, — той пожирающей жажды философского синтеза, который должен осмыслить жизнь, и той непоколебимой веры, что этот синтез может быть найден и уже фактически найден, стоит только прийти к источнику и напиться. Когда Печерин приехал в Берлин, не прошло еще полутора лет со смерти Гегеля, и престиж его учения стоял в зените.

Печерин, знавший до сих пор только сухую и бесплодную науку академика Грефе, жадно накинулся на эту пищу богов. Филология была на время забыта: «Мощный дух времени, дух европейской образованности осенил меня своими крылами; я слышу его повелительный голос: он говорит мне, что короткое время моего пребывания за границею я должен употребить не на мелочное исследование грамматических форм древних языков, но на то, чтобы усвоить себе современные идеи, напитаться ими на все остальное время жизни. Для меня весьма было полезно, что я года полтора до отъезда за границу должен был почти исключительно заниматься механизмом своего предмета; теперь я могу отдохнуть и после рабочих, ремесленных дней отпраздновать воскресенье науки в богослужении идеям. И сколько содействует такому развитию дух общественного мнения, обнаруживающийся в книгах и журналах, а особенно преподавание здешних профессоров, которое основано на идеях и насквозь проникнуто идеями!» Ежедневно, от 9 до 12 часов утра, он слушает лекции; после лекций, часу во втором, обедает с земляками в ресторане Гильгендорфа; потом идет в музей, где почти каждый день проводит часа два, главным образом, в отделении античной скульптуры, и иногда «совершенно забывается в наслаждении, смотря на эти идеальные формы человеческой красоты». Дома он не работает — только читает что-нибудь, иногда Гегеля, но большую частью все самое свежее, новейшее: «меня обуял дух современности». Он получает две газеты — одну политическую, другую литературную: «Магазин Иностранной Литературы». Недавно он прочитал только что изданные последние песни Беранже: «это венец поэзии Беранжера и венец французской поэзии, которая, по моему мнению, никогда еще так высоко не воспаряла». Особенno его поразила одна строфа из стихотворения *Les fous** — он затвердил ее: «Как часто мысль, как безвестная дева, ждет себе супруга: глупцы считают ее безумною, мудрец говорит ей: скрывайся! Но какой-нибудь безумец, который верит в завтра, встретив ее в удалении от света, берет ее себе в супруги, и она делается плодовитою для счаствия рода человеческого»⁶².

Прошло всего два с половиной месяца с тех пор, как Печерин уехал из Петербурга. Он еще с нежностью вспоминает о друзьях и о ней и пишет пи-

* «Безумцы» (франц.).

съма объемом в тетрадь, но его чувства спокойны. Его огорчает отсутствие писем: ни одного письма за все время! «Жестоко не иметь так долго от вас известий! Как процветает наша пятница? Как живут и развиваются мои юные друзья, исполненные свежей, поэтической жизни? Как уживаются их (или лучше *наши*) прекрасные идеалы и надежды с враждебною действительностью? Как распускаются и благоухают нежные цветы Смольного монастыря? И наконец, — скажите мне что-нибудь о вечерах у Буссе! И наконец, — Александр Васильевич, отдайте мой поклон и мой сердечный вздох всему прекрасному в Петербурге, всем моим сладостным птическим мечтам. Было время!

Среди Граций, игр и пляски.
С Музой жил я в тишине,
И подчас живые глазки
Улыбались в танцах мне.
Песни легкие слетали
С цитры скромной и простой,
И друзья рукоплескали
Песням Музы молодой.
А теперь моя цевница
На стене, в пыли висит;
Май прошел — весны певица,
Пригорюнясь, молчит».

Этот первый семестр — медовый месяц заграничной жизни Печерина. Он страстно наслаждается — ему там «новы все впечатленья бытия»⁶³. Он впервые ощущает ту легкость существования, которую чувствует иностранец, временный обитатель страны, не связанный с нею никакими житейскими узами. Как ребенок тешится невиданной игрушкой, так он упоен частностями этой более свободной и более изящной, нежели русская, а главное — новой, невиданной жизни: и деликатной беседой с соседом по табль-д'оту, и толпою студентов в университетском саду, и улицами, и лицами, и вещами. И это еще не все — это только внешность, преддверие храма; а там, внутри, — святилище, где раздается голос самой Истины. Его дух ширится, растет, свежеет с каждым часом — ему самому так кажется, и он благоговеет перед жрецами Истины и ликует.

В эти первые месяцы за границей он живет всем существом. Темное облако, временами мрачившее его жизнерадость в Петербурге, точно сошло с небосклона: все залито солнцем, и в лучах этого солнца побледнело и сознание, что ветхий мир нуждается в обновлении, и тяжелое чувство собственной обреченности. Но это, разумеется, не надолго: «Они проснутся, погоди!»^{64*}

После майского письма к Никитенко у нас больше нет писем Печерина до конца семестра. Весенний семестр кончался тогда в Берлина 1 августа. Предстояло 3—3 1/2 месяца свободных. План давно был готов: в путь, на волю, в широкий, свободный, роскошный мир! В ушах звучало Шиллеровское:

Wandern und streifen
Die Welt entlang...
Frisch in die Weite,
Flüchtig und flink!.. * 65*

Исполнилась еще одна мечта, может быть самая пламенная. Много лет спустя, в 1869 году, Печерин, прочитав «речь» Никитенко о Ломоносове, писал Никитенко: «Помните ли, что в *наше* время давали в Большом театре русский водевиль *Ломоносов или рекрут-стихотворец*⁶⁶*. Вы не можете себе вообразить, до какой степени я увлекся этим водевилем. Мне хотелось, подобно Ломоносову, странствовать пешком, искать приключений, быть практическим поэтом. Оно и в действительности так осуществилось, и даже больше, чем я желал. Вот вам и Судьба! и вот из каких нитей ткутся ее ткани!» Это была «опера-водевиль в трех действиях», сочинение плодовитого кн. А.А. Шаховского — бойкая, эффектная на сцене пьеса, где Ломоносов — воплощение благородства и патриотизма — поминутно декламирует свои *русские оды*, и немецкие поселяне не только слушают их, но и понимают и весьма хвалят. Здесь изображен известный эпизод из жизни Ломоносова — его завербование в солдаты прусскими вербовщиками; в пьесе тиролец Михель, с которым Ломоносов вместе шел из Марбурга и которому имел случай оказать великолдушную услугу в пути, доставляет ему возможность бежать от вербовщиков. Водевиль полон куплетов, которые пелись под музыку, «собранную из разнонародных песен, маршей и вальсов, аранжированную для оркестра г. Антонолини»⁶⁷*. Здесь на сцене пред поклонниками Шиллера воочию проходили те чарующие картины романтического немецкого быта, которые они знали только из чтения: деревенский трактир «под вывеской розы», беззаботные вагабунды**, легкие нравы, живописные костюмы. Вербовщики поют:

Жизнь счастливая, конечно,
Петь, любить и воевать,
Нынче день провесть беспечно
И о завтра забывать...

Тиролец Михель рассказывает о своем путешествии с Ломоносовым:

Вместе нас свела дорога
В роше утренней порой;
А знакомиться недолго
Пешеходцам меж собой, —

* Странствовать, бродить
По свету...
Радостно, в дали широкие,
** Vagabund — бродяга (нем.)

Я с любовью шел одною,
Он был авторски богат,
Но последнее со мною
Разделил, как кровный брат...

В общем было весело, легко, поэтично и хотелось самому испытать этой веселой скитальческой жизни.

V

Путешествие

Вместе с двумя своими товарищами, тоже членами русского «профессорского института» в Берлине, Редкиным и Баршевым⁶⁸, Печерин выехал из Берлина 3/15 августа. Через Дрезден, Теплиц, Карлсбад, Нюренберг, Штутгарт и швабские Альпы, многократно останавливаясь на пути, они спустились (в дилижансе) к Констанцскому озеру, и 31 августа по нов. ст. из Шафгаузена двинулись пешком по Швейцарии. Около месяца заняло это пешеходное путешествие; в первых числах октября они перевалили через Симплон в итальянские долины, посетили Милан, Падую, Верону, Венецию, Рим, Неаполь, и отсюда через Вену, Прагу, Дрезден в начале ноября вернулись в Берлин. С дороги Печерин несколько раз писал в Россию — петербургским друзьям и кузине, а по возвращении в Берлин, в первые же дни, начал писать свои воспоминания о путешествии; эти записки, ограничившиеся, впрочем, одной Швейцарией, он позднее, уже в Москве, отдал в «Московский Наблюдатель»²⁴.

Эти три месяца были, после Берлина, вторым крещением Печерина, второй ступенью, с которой он взглянул на мир. Быть так счастливым, как он был счастлив в эти дни, удается немногим — только таким, как он. Вся поэзия его сердца излилась на мир; где ступала его нога, там вырастали цветы, куда обращался его взор, там вещи обнажали затаенную в них красоту.

«Любезный путешественник! Вы царь; вся Природа есть ваш придворный штат, ваше войско и все, что вам угодно. Посмотрите: когда вы едете по шоссе, над этими рвами, по краям, стоят большие, стройные цветы и кивают вам светлыми головками: это ваши гранды. Тонкие, длинные сосны стоят вытянувшись, как старые гренадеры, и только шевелят усами, как будто хотят сказать: здравия желаем, ваше величество! Голубенькие незабудочки и разные красные цветочки делают перед вами книксен: это фрейлины и штатс-дамы. А добрые гибкие ивы кланяются вам в пояс, как настоящие придворные. Вы мчитесь в вашей торжественной почтовой колеснице между стройными рядами ржи, овса, ячменя, картофеля и всякого

другого регулярного и иррегулярного войска, и все это салютует вам, разумеется, пока ветер дует на нашу сторону. Вы, между тем, спокойно курите цигарку, мельком взглянете на ваших верных подданных, и в ту же минуту забываете об них и спешите далее, к вожделенной цели, где ожидает вас общество подобных вам царьков, вкусное вино и прекрасные женщины... О, как мило быть царем! Сверх того, вы должны знать, любезный путешественник, что вы совсем не какой-нибудь воздушный царек девятнадцатого столетия, — нет! Вы настоящий полновесный, дюжий царь 15, 16, 17-го и всех возможных абсолютных столетий. Вся органическая и неограниченная природа: камни, деревья, цветы и женщины, — все ваше, разумеется, если только ваши царские доходы не ограничены какою-нибудь глупою конституцией...

«Так, душенька Чижов, было мне весело и легко на душе, несмотря на пасмурную погоду, когда я ехал в Eilwagen^{*} из Нюренберга в Штутгарт^{**}. Верьте, друзья мои, — для путешественника вся Природа живет живою жизнью, особенно когда деньги звенят в кармане и горячая кровь приливает к сердцу. Когда я по дороге смотрел на желтенькие цветочки, которыми испещрены баварские луга, то мне казалось, что это мои добрые старые червонцы, которые я рассорил по дороге: они, по смерти, превратились в цветы и теперь насмешливо кивают мне желтыми головками и металлическим голоском говорят: «счастливой дороги, добрый хозяин!» — Прощайте, друзья мои, прощайте навеки! отвечал я им с глубоким вздохом... Ах! путешественнику, чувствительному путешественнику часто приходится вздыхать и плакать... Если мне не верите, то прочтите Карамзина и Шаликова» (письмо из Штутгарта, от 26 авг. — 7 сент.).

...Началось с первого же дня, с переезда из Берлина в Дрезден. Вместе с нашими приятелями ехала молоденькая венская актриса, м-lle Юлия Вейк. Она играла перед тем в Берлине, и русские составили там партию в ее пользу: не пропускали ни одного представления, неистово аплодировали — всех усерднее Печерин, и почти одни поддержали ее славу. Легко вообразить их восторг, когда, прия в берлинскую контору дилижансов, они застали там ее с матерью: они тоже едут в Дрезден! Но увы! они едут в другой карете. Наконец, фортуна улыбнулась Печерину: на последней станции ему удается пересесть к ним. У него уже готовы немецкие куплеты в честь м-lle Вейк, очень хорошие куплеты, чувствительные и звучные, в чистейшем романтическом стиле. По настоянию Редкина он читает их вслух; все общество дилижанса раздражается громким браво! Бразильский поручик списывает их в свой бумажник, берлинский юстиц-рат желает знать имя автора, чтобы напечатать их в венской литературной газете, старушка-мать м-lle Вейк вне себя от радости; а прелестная Юлия, слушавшая его с опущенной вуалью, поднимает вуаль, и ее лицо сияет, «как будто стихи мои сплели ей венок из лучей»; я не могу вас хвалить, говорит она, потому что я

* Скором дилижанс (нем.).

** Правильно: Нюрнберг и Штутгарт (Stuttgart).

сама — предмет вашего стихотворения. По приезде в Дрезден он вручает ей копию стихотворения со своей карточкой, она дает ему свой адрес в Вене, и они расстаются, причем у него невольно навертываются на глазах две слезинки — «последняя дань сентиментальности».

И точно — к чему слезы? Вот уже новое прекрасное лицо — Амалия, дочь сторожа дрезденской *Frauenkirche**; она назначает ему свидание вечером, но — обманщица — не приходит. Вечером он в театре, и рядом с ним — милая девушка, недавно приехавшая из Карлсбада, и он в антрактах беспрерывно болтает с нею. «Как упоительна беседа с прекрасною образованною девушкою!» И Дрезден с его картинной галереей, Саксонская Швейцария и добродушный народ... восемь дней пролетают, как миг. Дальше в путь!

Сверкает гладкое и спокойное, как зеркало, Констанцское озеро, белеет парус, вдали — слои облаков, обозначающие Альпы. Дорога идет между холмов, покрытых виноградниками; там и сям попадаются хорошенъкие белые домики с большими светлыми окнами, которые смотрят приветливо и улыбаются, «как чьи-нибудь миленькие глазки — в Смольном монастыре или в Екатерининском институте». Шафгаузен!.. Здесь Рейнский водопад! — «Я закрыл глаза и долго стоял, как будто прикованный волшебною силою к этому месту, неподвижный, в блаженном забвении, в сладкой дремоте. Я нарочно наклонял голову через перила, чтобы прохладные брызги били мне прямо в глаза, чтобы водяная пыль покрывала меня с ног до головы... Вы спросите меня: о чем я думал в эту минуту? — Я думал: какое наслаждение — умереть в водах Рейнского водопада! Какое живое, кипящее сладострастие — броситься стремглав в эту снежную, прохладную пучину, крутиться несколько секунд в этих клубящихся, серебряных, звонких валах, и потом, вслед за ними, в тонком, прозрачном, радужном тумане водяной пыли умчаться в быстрые светло-зеленые воды Рейна!.. Да, господа: что ни говорите, а смерть прекрасная вещь! Ею красуются народы и неделимые. Самая скучная вещь в мире — это государство, которое не умирает (как напр. Китай), и человек, который живет за 50 лет».

Отсюда приятели двинулись пешком, с ранцем за плечами и с зонтиком в руках. Вот Цюрих, и вот, наконец, Альпы! Дорога вьется по долине, слышен воскресный звон колоколов и позвякиванье колокольчиков мирно пасущегося стада. Мелькают Цуг, Гольдау — вот Риги, и в темноте они достигают вершины Риги-Кульма; а там Грютли, где родилась швейцарская независимость, часовня Вильгельма Телля, и наконец они в самом сердце гор — переваливают через Сен-Готард, видят Ронский глетчер. И дальше, все дальше на юг — от суровых гор в цветущие долины Женевского озера, отсюда — в страну голубых озер, преддверие рая, и наконец, вот она, Италия, торжественная неувядаемой красотою и великими воспоминаниями. Сколько глубоких впечатлений, сколько красоты и свободы! Чудеса природы и искусства, Мадонна Рафаэля и первозданный хаос горных вершин,

* Церковь Богоматери (нем.).

смеющиеся зеленые долины, стройные города, похожие на игрушки, — и люди, люди, такие легкие и изящные, эта прелесть нежданных встреч, застольных бесед, минутной влюбленности, — и никаких уз, никакого постоянства, но уже опять идешь, чтобы не вернуться, идешь к новым неожиданностям, а на душе легко и молитвенно.

Вот сидит Печерин в маленькой комнате третьего этажа гостиницы, в деревушке кантона Унтервальден: он зашел сюда навестить больного товарища, и застрял из-за дождя на три дня. Он пишет письмо кузине. Как несносна эта дурная погода! и никакого общества! Он может переносить самые тяжкие лишения, но скуки он не может переносить. Он завтра утром уйдет, во что бы то ни стало, несмотря на дождь. Уж лучше вымокнуть до костей; за то какое наслаждение, прия в гостиницу, отдать свой зонтик служанке и сесть за стол в большом обществе! болтаешь, смеешься и забываешь усталость и ненастье. — Вот, после 4-часового подъема он с товарищами достигает вершины Кульма. Уже темно, столовая гостиницы ярко освещена; за столом большое общество французов и англичан. Он садится подле трех молодых англичан, быстро завязывается знакомство, закрепляемое парой бутылок хорошего вина, — и за пуншем идет шумная беседа с песнями и смехом до двух часов ночи, не давая уснуть гостям. А на утро — дождь, приходится переждать; после обеда кто-то садится за рояль, другой достает флейту, выносят стулья из столовой, и начинается бал, причем служанки исполняют роль дам. — Вот он идет по Сен-Готардской дороге и смотрит, как старые седые утесы, расплясавшись на просторе и потом застыв в фантастических позах, хохочут над рекою Рейсс, которая стрелою несется среди них, спотыкаясь на каждом шагу; вот стоит на вершине Фурки и чувствует себя легким, воздушным, прозрачным, как Бог, и смеется над дольним миром, над его «туманною, мутною жизнью»; вот он идет из Лозанны в Веве — «совсем так, как Руссо: пешком и в чудную погоду», вот из Веве, с томиком «Новой Элоизы»⁶⁹ в кармане, идет в Кларан и догоняет хорошенку ватландку с корзиною на голове; она стройна, со свежим миловидным лицом и маленькими, изящными руками, с тем «нежно-jemанным» голоском, который, по словам Руссо, отличает всех ватландок; он провожает ее до Кларана, болтая, и на прощанье срывает поцелуй. Вот Шильон! «там в подземелье семь колонн»⁷⁰ — и имя Байрона выцарапано на одной из них. И опять очаровательная встреча в Вильнёве, — и так длится, ежечасно меняя картины, этот волшебный сон, чем дальше, тем лучезарнее.

Так вот она — жизнь, какую природа создала для человека! Он никогда не знал ее такою! Он знал хмурое небо Петербурга, каменные ящики, в которых теснятся люди, чиновников и девиц, танцующих при свечах, узнал потом аудитории Берлина и пыльные библиотеки, — но этого он не знал. Эта жизнь — ведь она стоит мечты! И если такова действительность, он радостно готов примириться с нею, ему даже стыдно, что он когда-то изменил ей ради пустой мечты. Покоренный красотою заката, идя поодаль от товарищей, он вынимает записную книжку и пишет в ней: «Было время,

когда душа моя расширялась за высокие горы, за пределы горизонта, обнимала целый мир, стремясь к какому-то высокому, неизвестному, недосягаемому блаженству: теперь она более и более сжимается в мелкую точку настоящих потребностей, тесной действительности». И он поясняет: «Это был последний вопль издыхающей сентиментальности, последний ропот ее на всемогущество царственной действительности, единой истинной и прекрасной».

VI

Рождение «мысли»

Печерин вернулся в Берлин 8 ноября, к началу зимнего семестра. После всего, что он пережил в эти три месяца, Берлин утратил для него всякое очарование. Он видел волшебный сон — «ах! зачем я проснулся в моей комнате среди пыльных книг, в скучном — уже потому, что немецком — городе. С тех пор, как я видел столько французов и англичан, я всей душой ненавижу этих тяжелых немцев, этих *rogchi tedeschi**, как их называла одна прелестная венецианка, с которой я ехал от Праги до Дрездена». Он находит, что Германия — вовсе не страна для путешествия: она годится только на то, чтобы чрез нее проезжать во Францию или Швейцарию, или чтобы чрез нее проходили союзные войска по определению какого-нибудь конгресса. Ничтожный, грошовый народ! где два человека разговаривают на улице — прислушайтесь: их первое слово — *татер* или *гроши*.

Но его еще привлекала наука, тогдашняя наука, вдохновенно обобщавшая жизнь в философской схеме и освобождавшая личность для радостного творчества. Его первое письмо к друзьям по возвращении (от 9/21 декабря) опять содержит подробный отчет о лекциях. Он слушает по утрам у Бёка «Политические древности Греции» и «Антигону Софокла», после обеда два раза в неделю — «Философию истории» у Ганса. В Стеффенсе он разочаровался: «я не люблю его за его одностороннее религиозное направление. Да и вы, Александр Васильевич, как будто несколько наклоняетесь к успокоению в религии... Вы носите стеганый халат? — *fi donc, mon cher!*** Вам не пришла еще пора броситься в объятия дряхлой идеи религии». Зато Гансом он увлекается все более. Он записывает его лекции, и сообщает друзьям выдержки из своих записей. История, говорит Ганс, складывается из взаимодействия индивидуумов и государства. Государство не есть продукт человеческого несовершенства, временное учреждение, существующее исчезнуть с высшим развитием человека; нет: оно есть высшее, совершеннейшее развитие свободы человеческой, но не свободы естественной, которая в государстве уничтожается, а нравственной. История

* Свиньи немцы (*итал.*).

** Чорт побери, мой дорогой! (*франц.*).

человечества представляет три периода: восточный, классический и христианский; в первом только один свободен, а все рабы, во втором некоторые свободны, в третьем свободны все; в первом преобладает религия, во втором — искусство, в третьем — философия. В начале истории индивидуум еще не отделяется от государства (*Familienstaat*)^{*}; это государство прозы, ибо поэзия является только там, где из массы однородного выделяются противоречия. История возможна только там, где пробуждено сознание, где индивидуумы сознают себя, делаются самостоятельными и, становясь против государства, перерабатывают его форму. — Эти обобщения, модные тогда, видимо опьяняют Печерина. Он с восхищением говорит и о самой личности Ганса, передает его смелые остроты. «Вчера, например, говоря о греческих оракулах, он вдруг предлагает себе вопрос: «почему теперь, в наше время, нет оракулов? как вы думаете, высокопочтенные господа (*Hochzuverehrende Herren*)? Потому, что мы вырвались из цепей природы; она не предписывает нам более законов: теперь каждый сам себя определяет, каждый сам для себя оракул... Разве, может быть, *теперь* новый министерский конгресс в Вене сделается оракулом для Европы — не знаю...» (общий хохот и легкие рукоплескания). — Говоря о славянских племенах, он сказал, что назначение их — быть оплотом против нашествия варваров из Азии. — «Да! господа, теперь нам нельзя опасаться нашествия варваров — разве только может случиться, что русские придут в Европу» (громкий, оглушающий хохот)».

Философия Гегеля была в это время, по-видимому, главным предметом умственных интересов Печерина. Из письма не видно, изучал ли он ее самостоятельно, но его пространные рассуждения о ней обнаруживают хорошее знакомство с общим духом учения.

Он занимается теперь и классиками: читает вместе с Крюковым Фукидида и Тацита. А дома, при свете лампы, он погружается в Шекспира, которого читает теперь уже в подлиннике, — ибо, пишет он, «с некоторого времени мною овладел демон драмы, и я все свои мысли стараюсь выражать в форме разговора». Он посыпает друзьям первый свой опыт в этом новом роде — драматические сцены, а чтобы полнее был отчет о его умственной жизни, посыпает еще нечто стихотворное в нелепо-фантастическом роде, возникшее из его «импровизаций».

«Надобно вам знать, любезные друзья мои, что я иногда, по воскресеньям, в Гильгендорфском трактире забавляю товарищей моих актерством, чревовещательством и импровизациями (какими — уж не спрашивайте). Да! не шутите: у меня проявился небольшой талант чревовещательства, и я всеми силами стараюсь развить оный.

«Каждый почти вечер я провожу часа два в кондитерской Стегели. Это единственная в Берлине по множеству английских и французских журналов всех цветов и по числу посетителей — людей разных наций и разного покрова. Я особенно заметил одного старика. Он каждый день у Стегели, и

* Здесь: патриархальное, родовое государство (*нем.*).

никогда ничего не читает, а только, сидя в уголке, смотрит на то, что перед ним происходит. Он высокого роста; имеет значительное лицо, и белые волосы его падают на плечи; он всегда в одном и том же синем сюртуке с белым галстуком и в огромных ботфортах. Не знаю, действительно ли он глубокомысленный наблюдатель, или только созерцательный дервиш, погруженный в физическое и умственное бездействие. Подле меня часто сидят три француза, которые, по-видимому, должны быть сельские хозяева: они премного толкуют о почве земли, о цене пахотных полей и т.п. Одинпрепространно рассказывал об России, откуда он, как кажется, недавно приехал. Здесь иногда презабавно слышать, как диктаторским тоном произносят приговор тому или другому государству: решают, без апелляции, судьбу Португалии и Испании. Я, большею частию, играю роль наблюдателя и сам люблю иногда, ничего не читая, сидеть в сладком безделье и смотреть полузамкнутыми глазами, как шевелятся люди в этих залах, ярко освещенных газом.

«На меня нападает иногда, периодически, род сплины: тогда я делаюсь капризным ребенком, которому никто и ничто не может угодить, тогда кипит во мне жажда деятельной практической жизни, — тогда-то рождаются драматические сцены и тогда я нахожу успокоение в бездействии у Стегеля. Иногда я люблю бродить, ввечеру, по улицам берлинским. Тогда весь город, освещенный газом, представляется мне огромным маскарадом. В себе я вижу какое-то высшее существо, могущую судьбу в коричневом плаще; ее никто не знает; к ней никто не смеет прикасаться; она всем заглядывает в лицо (как я обыкновенно делаю), на всех налагает руку (что я также делаю со всеми женщинами). Вы не можете себе представить, какая это восхитительная мысль, видеть в населении целого города нечто низшее, подчиненное себе; видеть в себе существо высшее, совершенно чуждое всех мелких страостей, движущих этим народонаселением, и таким образом безнаказанно осмеивать, щупать и теребить целый город. Право иностранца позволяет многие вольности, и сверх того здешние женщины все, без исключения, без малейшего исключения, очень любят, когда их щупают... О, Берлин! Берлин! Содом и Гомор! Город философии, разврата и серебряных грошей! Мне жалко будет расстаться с тобою, ты был послушною игрушкою в руках моих!»

Под этим письмом он подписался так: «Ваш Мелеагр, актер, чревовещатель и импровизатор».

Это письмо едва позволяет догадываться о внутренней борьбе, переживаемой Печериным; но именно в эти месяцы решался вопрос его судьбы.

Из летнего путешествия на юг он вернулся в Берлин перерожденным. До этой поездки он вовсе сам еще не знал, чьей крови он сам. Правда, он с детства мечтал о каком-то «лучшем мире», где век не вянут цветы, но эта мечта оставалась для него бесплотной и отвлеченней, прекрасным вымыслом заведомо не реального порядка; такою он сознавал ее. Мечта — одно, действительность — совсем другое; мечта утешает и греет, ее надо беречь

в себе, а настоящая жизнь — хорошо, если удастся хоть на пядь приблизить ее к идеалу; где уж было среди русских снегов и петербургской слякоти, среди грубости и убожества, торжествующего насилия и рабства мечтать о действительном воцарении свободы и радости, о вечной весне и свободном человеке! Годы, проведенные Печерином в России, сделали то, что он привык предъявлять к действительности крайне скромные требования, и оттого, попав в Берлин, он на первых порах блаженствовал: эта действительность настолько превосходила петербургскую, что он почти готов был признать ее осуществлением идеала. Но когда он увидел снежные горы Швейцарии и итальянское небо, когда он сам вкусила свободной и праздничной жизни среди красот природы и искусства и вокруг себя увидел других людей, столь же легких и радостных, как он, — тогда он безвозвратно почувствовал, что он рожден именно для такой жизни, что только она пристала человеку и что меньшего нельзя принять — обидно, нестерпимо. Он знал от Шиллера и Руссо, что рабство, унижение, страдание, труд — искашение бытия, что человек рождается для игры и молитвы; но до сих пор эти слова звучали ему извне, — теперь все его существо исполнилось ими: он — не пасынок, а сын природы, облеченный всеми правами своего царственного происхождения, и все люди — царские сыновья, кем-то проданные в рабство.

И тут, по естественной ассоциации чувств, воскресли в нем те тайные влечения, которые уже и раньше давали себя знать: инстинкт власти, чувство своего исключительного призыва. На пустынном берегу Балтийского моря он стоял «гордо, как самодержавный царь земли», Берлин был послушной игрушкой в его руках: он безоговорочно чувствует себя властью имущим. Это полнота жизни, избыток сил; и отсюда его геройство.

Романтики начала XIX века выработали в себе героическое самосознание вполне индивидуальное и эгоистическое. Печерин, конечно, хорошо знал драму Кёрнера «Црини». Здесь Солиман, готовясь идти на Вену, спрашивает своего врача, долго ли он может еще прожить, и в ответ на его уверение беречься, говорит (именно этот монолог перевел и напечатал в «Сыне Отечества» за 1834 г. друг Печерина Сорокин):

Ich soll mich schonen? Soll den Funken Kraft,
Der in den alten Heldengliedern schlummert,
Im müss'gen Leben langsam sterben sehn?
Wie ich auftrat, da hat die Welt gezittert,
Die Welt soll zittern, muss ich untergehn!
Das ist das grosse Götterloos der Helden!
Geboren wird der Wurm, und wird zertreten,
Und nichts bezeichnetnet seines Lebens Spur;
Das Volk verjüngt in kriechenden Geschlechtern
Sein armes Dasein, und der Niedre schleicht
Unangemeldet in und aus dem Leben;
Doch wo ein Held, ein Herrscher kommen soll,
Da ruft's ein Gott in seiner Sterne Flammen,

Er tritt verkündigt in die starre Welt,
Das Leben ist auf seine That bereitet.
Wenn dann der Tod den Siegenden bezwingt.
So weckt Natur tausend geheime Stimmen
Und lässt es ahnend seiner Zeit verkünden,
Da sich der Phönix in die Flammen stürzt.⁷¹

Вот героический идеал романтиков: высоко подняться над толпою, наполнить мир славою своего имени — и только. Это мечта аморальная: *все равно*, как и на чем добыть славу, лишь бы добыть.

Печерин был сын другого времени. В нем, как и в его сверстниках, эта струя слилась с другою, тоже вытекавшей из XVIII века, — из Шиллера и Руссо. Его героизм носит те же черты, но наполнен моральным содержанием. И его предназначение — он уверен в этом — начертано на скрижалях судьбы, и природа возвещает его знамениями (Печерин с детства видел на небе *свою* звезду — об этом еще будет речь ниже). Но пустой славы ему не нужно. Его личность безраздельно спаялась с его мечтою, и личная слава манит его только как апофеоз его мечты. Ветхий мир должен быть разрушен, на его месте должно вновьиться царство свободы и радости, — и это сделает *он*, предназначенный к тому судьбою, — он, первым прозревший, освободит народы и тем стяжает бессмертную славу в веках. Что здесь было средством и что целью, — освобождение ли человечества или собственная слава, — я не знаю, да и кто возьмется это решить? Два могучих инстинктивных влечения слились в одно устремление воли по неведомым нам законам. Только ребяческая наивность возьмется объяснять человека, я же хочу лишь показать Печерина, каким он был.

Мы увидим дальше, какие жгучие мысли бороздили ум Печерина уже на обратном пути из Италии, в Вене. Вопрос его жизни встал перед ним с ужасающей ясностью. Чем увереннее он сознавал неизбежность обновления мира, — а он сознавал ее теперь с абсолютной уверенностью, — тем менее мог он внутренне уклониться от чувства своего долга, своего предназначения. Он был в пленах этой мысли, как одержимый. Он призван — это значит: обречен. Чтобы исполнить такой подвиг, надо отдать себя, порвать все узы привычек, привязанностей, любви, презреть все чудесные сблазны мира, и ожесточить свое сердце. А это сердце было так нежно и так много любило, — и Альпы, и древность, и поэзию, и женщин, и мать, и ту Софию в холодном Петербурге. Надо самому умереть, чтобы мир мог ожить. Печерин издавна лелеял мысль о смерти. Он полюбил ее, кажется, еще в то время, когда больше всего дорожил неприкосновенностью своей мечты: тогда смерть представлялась ему единственным достойным исходом, чтобы мечта не загрязнилась; уйти из действительности — в ученую келью, или, еще лучше, в могилу! Теперь, в его новом сознании, эта мысль преобразилась: ее пассивное содержание заменилось активным. В борьбе с влечениями своего сердца он опять возраждал смерти, как раньше — пе-

ред лицом бесстрастной действительности; но теперь смерть должна была быть уже не бегством от борьбы, а ее венцом, последней победою. И опять я не берусь сказать, как это сделалось, но всякий сейчас увидит, что так оно было.

К тому письму от 9/21 декабря Печерин приложил две рукописи: драматические сцены и поэму. То, что он переживал, можно было выразить только в такой, полусокровенной форме, а не трезвыми строками письма.

Две сцены из трагедии: Вольдемар Действие происходит в Италии, в 15 столетии

Вольдемар (Один, смотрит на часы)

Пробило десять — так! свершилось все!
И к вековому зданью предрассудков
Я первый должен факел поднести?
Зажечь пожар неистовый, в котором
Столетье ветхое сгорит? — Постой,
Безумный юноша! что начинаешь ты?
Ты властен ли сказать огню: «здесь твой предел!»
Ты можешь ли из бурного хаоса
Могучим словом вызвать новый мир?

О, как страшно — среди моря злова
Без руля и весел плыть!
И не знать магического слова,
Чтоб стихии усмирить!
И в борении ужасном
И бессильном — волны рассекать,
К небу руки воздевать напрасно,
И в слепой пучине утопать!

Так в долине погибает,
В бурю, стая голубков:
На скалы орел взлетает
Выше молний и громов.

Мощный дух стихии заклинает,
И выходит светлый из валов;
Повелит — и возникает
Из хаоса новый ряд миров!

Зачем не суждено мне век прожить
В приюте селянина — мирном, тесном?
И в чаще сельского родного сада
Не слышать шума площади народной?

25

Нет! Нет! о дух сомненья! удались!
Сам Бог с младенчества меня избрал,
Да буду я вождем Его народу:
Его десница привела меня
На стогны, в жизнь кипящую столицы;
Он дум божественных открыл мне тайны,

Мне очи прояснил, да вижу я
Неправды сильных, скорбь Его народа
И переполненную меру зла —
При корне дерева лежит секира:
Созрела жатва: ангелов своих
Владыка шлет исторгнуть плевелы.

Мне ль в бездействии, тоскуя,
Как былинке прозябать? —
Нет! я Бог! миры хочу я
Разрушать и созидать!
Дайте крылья! дайте силы!
Дайте Леты мне испить,
Чтоб и дружбу, и всех милых,
И тебя, любовь, забыть!

Ринусь в дикое веков боренье!
Лавр меня победный обовьет;
Я паду — но песню искупленья
Надо мной столетье пропоет!

СЦЕНА 2-я
(комната Софии — ночь — буря)

Вольдемар и Sophie

(Начало этой сцены не сообщается вам)

26

Sophie. Но вы молчите, Вольдемар? Вы опять задумались... Будьте же веселее! — Ах, послушайте: я вам скажу новость, которая и до вас несколько касается: maman хочет, чтобы наша свадьба была скорее, и даже именно в следующее воскресенье.

Вольд. В следующее воскресенье? — Нет, Sophie! это невозможно.

Sophie. Как? Почему? Что вы хотите сказать, Вольдемар?

Вольд. Это невозможно — потому, моя милая, потому, что я должен на несколько времени расстаться с вами.

Sophie. Расстаться! Вольдемар! что вы сказали? Расстаться! понимаете ли вы это слово: *расстаться*?

Вольд. Но, Sophie, — важные обстоятельства — я должен уехать на несколько времени — на несколько недель — и я пришел проститься с вами.

Sophie. Вольдемар, Вольдемар — что это значит? — Боже мой! Вы стали еще бледнее — в глазах у вас смерть — я позову татан — я пошлю за доктором.

Вольд. Нет! нет! останьтесь, Sophie — мне ничего не нужно — доктор не может мне помочь.

Sophie. (после минутного молчания). Вольдемар — может быть, я угадываю вас — у вас есть тяжелое что-то на душе — вы считаете меня слабою женщиной, простою девочкою, которая знает жизнь и людей только из романов — вы думаете унизить себя, открыв мне ваши тайны — но знайте, Вольдемар, что, с первой минуты нашего знакомства, я не переставала наблюдать вас, я не переставала изучать эту гордую душу, и может быть в эту минуту понимаю вас более, нежели вы думаете. Признайтесь, Вольдемар: глубокая, тайная тоска лежит на сердце вашем — вы с горькою улыбкою смотрите на ваше скромное, почтенное звание, и тихие радости нашей любви, нашей семейственной жизни не удовлетворяют вашего сердца.

Вольд.

Моя Sophie должна понять меня!
Хотите ль вы, чтоб жизнь моя прошла,
Как звук кимвальний, как ничтожный призрак,
Как звонкий стих без толку и без смысла,
Как драма скучная с пустой развязкой?

О Боже! двадцать пять лет! и ничего не сделано для славы! Двадцать пять лет — и никакого подвига! Двадцать пять лет —

И что же я? — ничто! — ничтожный раб,
Замешанный в толпе других рабов;
Я червь, который завтра же Владыка²⁷,
Смеясь, раздавит тяжкою пятой!

Sophie. Прекрасно! — Вольдемар — я понимаю — я разделяю ваше благородное негодование — но чего ж хотите вы?

Вольд. Я? — Разбить эти оковы, которые связывают мне руки; разрушить этот старый мир, в котором мне душно, и вольною рукою создать себе новый мир, новое широкое поприще для широкой деятельности!

Sophie. О! Теперь для меня все ясно — к несчастию, очень ясно! Но — благородная душа! ты знаешь ли, что этот путь, на котором ты стоишь, не есть путь жизни — это путь смерти!

Вольд. О милая! что такое жизнь? Высокая мысль, блестящая и быстрая, как молния; поцелуй любви, сладостный и минутный, как дыхание розы — вот жизнь! — а все прочее — внешность, пустота, ничтожность, не жизнь, а призрак жизни!

Sophie. О Вольдемар! Дайте мне вашу железную грудь! Дайте мне ваше необъятное сердце, которое хотело бы своею живою жизнию обхватить и зажечь вселенную. — Перед вами я чувствую, что я слабая женщина — я создана для тесного круга, для мелких забот семейственной жизни. — Ты, Вольдемар — весь горизонт моего сердца; ты солнце его, ты воздух небесный, которым оно дышит! (Бросается в его объятия).

Вольд.

Sophie! Sophie! — Жестокая судьба!
И этот цвет любви нежнейший,
Не распустившись, должен умереть!

Нет! Sophie, не оскорбляй природы! не называй себя слабою женщиной! Женщина, которой сердце легко и отрадно бьется на твердой груди доблестного мужа; женщина, которая, как гибкий плющ, презрев мелкие деревья долины, с любовью обвивается вокруг могучего дуба, чтобы с ним красоваться на высотах, в ярком сиянии солнечном, или — вместе с ним погибнуть под ударами бури — о! скажи мне: неужели это слабая женщина? — И если бы я считал мою Sophie такою обыкновенною женщиной, как бы я отважился придти к тебе в эту минуту, стать перед тобою с этим бледным, призрачным лицом, на котором судьба положила клеймо свое, на котором написано мрачное откровение целого столетия? Мог ли бы я спросить тебя этим глухим голосом — слушай! это звон погребального колокола — мог ли бы я спросить тебя, как спрашиваю в эту минуту: «*Sophie!* готова ли ты на все? готова ли ты смело заглянуть в лицо опасности и смерти?

Sophie. Смерти! — Смерти! — Что вы, Вольдемар? — к чему эти мрачные мысли?

Вольд. Неужели смерть так ужасна? О! Стыдись, Sophie! — Вспомни — в одну из прекраснейших минут нашей любви, на бале, в шуме веселья, ты сказала мне: «Вольдемар! мне часто приходит желание смерти.

И что мне делать на земле сей хладной?
В цветущем юности венке отрадно
В могилу свежую сойти.

Я сохранил эти слова в сердце своем, как драгоценную перлу, как залог будущего. Не измени мне, Sophie!

Sophie. Но, Вольдемар — умереть, вам умереть, когда розы жизни для вас только распускаются? умереть в такие лета, когда человек сжимает молодую жизнь в судорожных объятьях и умоляет: постой, прекрасная, не уходи! еще утро замогильное не настало! — О! нет! нет! я знаю, вы хотите только испытать меня.

Вольд. Sophie! я хочу, чтобы ты меня понимала. — Кровью, кровью, и не иначе, как кровью, искупляются и обновляются народы. Sophie! я поставил большую карту — Фортуна держит банк. Ты знаешь, моя милая: кого

судьба изберет своим орудием, тому она дает видеть немножко далее других людей. — Я давно имею странные предчувствия — мне кажется, что звезда моей славы должна взойти над моей могилой — мои лавры пахнут розмарином. Этот Вольдемар, в котором теперь бродят и кипят стихии какого-то будущего мира, этот Вольдемар, как он теперь перед вами стоит, в полноте жизни, — не значит ничего: — но когда он сделается горстью пыли, горстью тонкой пыли, Sophie, — о! тогда душа его переселится в целые поколения, и помчит, как вихрь, целые народы, и будет им огненным столпом, путеводителем в пустыне. — Это утешительная мысль! не правда ли? прекрасная мысль, Sophie? — и на что мне больше? Я жил, как царь, в венце твоей любви — вся жизнь моя была — твоя, Sophie. — Теперь послушай, милое, розовое существо, petite Sophie, — посторонись немного — дай место важной, почтенной даме — смерти — прошу тебя.

Sophie. Ради Бога! Вольдемар! Пощадите меня! Я женщина! Вы раздираете мне сердце! Перестаньте, ради Бога!

Вольд. Нет, сударыня: вы не презирайте смерти! она хоть и женщина, а великий поэт: без нее не было бы Ахиллеса.

Sophie. Что с вами, Вольдемар? Заклинаю вас Богом — успокойтесь — на коленях умоляю вас (становится перед ним на колена).

Вольд. (тихо отталкивая ее рукою). Нет! Нет! — уж поздно — уж ночь, — пора, пора домой, ma petite — тебя ждут. — У меня есть свои дела.

Sophie. Зарежьте меня лучше, Вольдемар! — сжалитесь, ради Бога! Смотрите: я целую ваши руки; я обнимаю ваши колена.

Вольд. Что же мне делать, ma petite? позади меня стоит высокий человек в коричневом плаще — да, Sophie, высокий человек, выше целого света — Судьба! — Чем же я виноват, ma petite, ma mignonnette?

Sophie. (вскакивает). Матерь Божия! спаси меня! — он помешался! — Милый, любезный Вольдемар! Вам жарко — вы расстроены — выпейте стакан лимонаду.

Вольд. Да — Sophie — да! у меня здесь (показывая на голову) ужасный жар; а тут (показывая на сердце) холодно — совершенная зима — уф!! (Sophie прыскает на него водою и подносит лимонад) — Ax! мне стало свежее. — Подай, Sophie, подай! — Я думаю, что это не тот лимонад, который поднесли Сократу, — нет! нет! — (Берет стакан).

В последний раз ты подашь мне чашу,
Мой Ганимед!

Sophie.

О милосердный Боже!
Зачем терзать меня так долго? Дайте
Скорее умереть!

* Моя крошка, моя милочка! (франц.).

Вольд. (бросается в кресло; молчание)

Sophie, мне легче —
Мне хорошо — мне очень хорошо —
Спокойно и прохладно, как в могиле.

(Вдали, сквозь бурю, слышен свисток; Вольдемар вскакивает).

Ага! Сигнал! — послушай, милая,
Нам несколько минут еще осталось,
А там — а там — навеки мы простимся.

Sophie. Что значит этот сигнал? — Что вы хотите сделать, Вольдемар? — О! пощадите себя, пощадите вашу жизнь, если не для меня, то для вашей матушки, которая вами дышит...

Вольд. Тот, кто послал сына на этот путь смерти, тот позаботится и об матери.

Sophie. Жестокий человек! Я, невеста твоя, умоляю тебя на коленях — о Вольдемар! ужели нет спасения, нет средства?

Вольд. Sophie! Дни мои давно уж сочтены. — Дерзкий ребенок! ты ли смеешь поправлять Великого Математика?

Sophie. Итак нет спасения!.. О надежда! ты, как легкая Пери, питалась дыханием цветов, и теперь, как Пери, улетаешь на небеса!

Не войду я в храм, сияющий
Блеском радужных огней,
И невесту восхваляющий
Лик не встретит у дверей.

И златой венец венчальный
Мне главы не осенит,
И нас перстень обручальный,
Милый друг, не съединит.

Под венцом, склоняясь главою,
В пляске важной и святой,
Не пойду я вокруг налоя
Рука об руку с тобой.

Мне не пить вина заветного
Трижды в чаше золотой;
Мне лобзания приветного
Не делить, душа, с тобой.

Церкви нашей песнопения
Надо мной не загремят;
Матери благословения
Мне главы не осенят.

Вместо платья мне венчального —
Белый саван гробовой;
Вместо пенья ликового —
Со святыми упокой!

Вольд. Время дорого, Sophie. — Нам не нужно алтаря — око всевидящее видит нас здесь. — Дай руку, Sophie. — Здесь, на этом самом месте, за год перед сим наши взгляды в первый раз встретились; здесь сердце твое, Sophie, забилось новым чувством — здесь, на этом священном месте, клянись мне, Sophie, именем Бога Всемогущего, клянись драгоценною жизнию твоей матери, клянись святостью твоей девственной чистоты, — клянись, что для тебя всегда и везде будет священна память моя; что ты и тенью сомнения не омрачишь моего светлого образа. — Пускай толпа вопиет против меня — брось им кость — они замолчат.

(Слышен второй свисток).

О! как летишь ты, время! — стой! — Клянись, Sophie, что в этом сердце, в этом храме, Где я, как бог верховный, ликовал, Ты жертвовать не будешь идолу Другому, чужому... Клянись, что тайна Свиданья нашего в сию минуту, С тобою ляжет в саван гробовой!

Sophie. Довольно, Вольдемар! Здесь, перед лицом Бога — здесь, на этом самом месте, я клянусь быть твою в вечности — обручаюсь с тобою союзом смерти. Обменимся кольцами — прими свою супругу, Вольдемар! (Бросается в его объятия).

Вольд. Sophie, прими сей брачный поцелуй!
(Раскаты грома и третий свисток)

Ага! пора! готова жертва!
И розами увенчана глава!
Первосвященник! подымай секиру!
А вы ликуйте, жители Олимпа!
Вам теплый пар от крови человека
Приятнее амвросии небесной!
Прощай! Будь мужественна, Sophie! Будь готова на все!

Sophie. О гордый человек! Смотри (вынимает кинжал) и научись понимать женщин.

Вольд. Порция! — прощай!
(Раскаты грома; барабан; выстрелы. Занавес опускается).

Он уходит — куда? — Разрушить старый мир, потому что это все, что он может.

Ты можешь ли из бурного хаоса
Могучим словом вызвать новый мир?

Нет, такого слова он не знает. Он может только разрушить, и, следовательно, сам должен умереть, пасть под обломками. Но и этого довольно: разрушение само обновляет мир, оно — источник жизни.

Эта мысль уже и раньше мелькала у Печерина — например, когда он думал о смерти, глядя на Рейнский водопад. Теперь он придал ей универсальный смысл. Он послан на землю для того, чтобы призвать в мир Смерть-обновительницу. Так возникла у него философия смерти, в которой его личная участь неразрывно сплелась с представлением о грядущем мировом катаклизме. Поэму, посланную друзьям одновременно со «сценами», он так и назвал: *Торжество смерти*²⁸.

Эта поэма — грандиозная симфония Бетховенской силы и Бетховенской мрачности. Она слаба по фактуре стиха, как и все, что написал в молодости нетерпеливый Печерин, не дававший себе времени отдельывать написанное; и все-таки она обнаруживает пламенную душу и мощное поэтическое дарование.

Она начинается картиною февральского праздника в Петербурге. Печерин вспоминает надежды, которые он когда-то возлагал на «святую пятницу», вспоминает смелые речи, которые раздавались на февральском празднике; теперь и эти надежды, и эти речи кажутся ему детской игрой. Рука деспота задушит всякое свободное движение, а чего не сделает она, то за нее сделает пошлость общества, засасывающая, как тина. Затем следуют две вставки — баллады: о русском юноше и о графине Турн. Их содержание тождественно: это две повести о любви, разбивающейся о социальное неравенство. Возможно, что эта тема была внушена Печерину историей его собственной любви к Софии, но возможно и то, что он хотел изобразить общее явление — как предрассудки людей попирают жизнь, насилиют природу. Такова первая часть поэмы. Вторая изображает разрушение «древней столицы». Мстя «за столетние обиды», Немезида посыпает на столицу бушующее море, и хоры пронзенных кинжалами сердец, погасших факелов и «пяти померкших звезд» (пять казненных декабристов) благословляют карающую руку Немезиды. Печерин использовал здесь ходячее поверье, что Петербург когда-нибудь погибнет от воды²⁹. Лермонтов также написал стихотворение на эту тему, где, впрочем, под волнами, наступающими на дворец, разумеется народная масса³⁰, а по словам графа В.А. Соллогуба, Лермонтов любил также «чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого подымалась оконченьость Александровской колонны с венчающим ее ангелом³¹. Последняя часть поэмы — интермедия: апофеоз Смерти освобождающей и обновляющей. В эпилоге выступает сам Поэт.

Торжество смерти

За синим за морем, в далекой земле,
Сошлись молодцы пировать в феврале.
Тарелки брязжат и стаканы звенят
И вольные речи сверкая кипят.
Дверь настежь. — с гуслями вошел старичок.

И всем поклонился, и сел в уголок.
За ним с самопрялкой старуха вошла,
С собой для потехи кота привела.
Ерошится кот и сверкает хребтом,
Сердито мурлычит и машет хвостом.
Уселись старуха — прядет и поет;
Под музыку пляшет, мурлыкая, кот.

Старуха (поет в нос)

Пряжа тонкая прядися!
Веретенышко вертися!
А веревочка плетися!
Тру-ру, тру-ру, тру-ру.

Кот

Мяу, мяу, голубок.
Не гуляй, друг, одинок!
Мяу, мяу, молодцы.
Прячьте в воду все концы.
Мяу, мяу, мяу, мяу.
И старец пустился на гуслях играть —
С присвистом, с прищелком пошел припевать.

Старик

Ай веревочка свивается,
Ай люли! ай люли!
Да на шейку надевается,
Ай люли! ай люли!

Старуха

Пряжа тонкая прядися!
Веретенышко вертися!
А веревочка плетися!
Тру-ру, тру-ру, тру-ру.

Кот

Мяу, мяу, серый кот!
Кошечка на крыше ждет.
Мяу, мяу, чижик мой.
Сидя в клетке, смирно пой.
Мяу, мяу, мяу.

Старик (закатисто)

Ах, головушки вы удалыя,
По французской моде завитыя!

Вам не долго почивать
На подушечках пуховых,
Вам не долго погулять
В мягких шапочках бобровых!
Ай веревочка свивается.
Ай люли! ай люли!
В узелочек заплется,
Ай люли! ай люли!
Да на шейку надевается,
Ай люли! ай люли!

Старуха

Пряжа тонкая прядися!
Веретенышко вертися!
А веревочка плетися!
Тру-ру, тру-ру, тру-ру.

Кот

Мяу, мяу, кот глядит:
Чижик в клетке не сидит;
Мяу, мяу, чиж запел, —
Чижика наш котик съел.
Мяу, мяу, мяу, мяу.

Старик (закатисто)

Ах вы шейки белоснежные!
Дети барские вы, нежные!
Галстучки пеньковые,
Други покидайте!
Галстучки шелковые
К зиме припасайте.
Ай веревочка свивается...

Тут барин, схватясь за бутылку, сказал:
«Перестань, старый черт, ты мне скучу нагнал!
Старуха, не пой! а ты, кот, не пляши!
А лучше, старик, ты нам сказку скажи!»
Старушка и котик затихнули вмиг,
И начал им сказочку баять старик.

Сказка о трех Новых годах

В один вечерок — настает новый год —
Гурьба молодцов на попойку идет.
Вино и шипит, и звездится в кубках,
И младость бунтует в могучих сердцах.
Вино через край начинает уж течь;

Течет через край и широкая речь.
Свобода и доблесть у всех на устах,
И песня лихая на звонких струнах.
И каждый орлиным полетом летит,
И смело Грядущему в очи глядит;
И к Богу кричит: «я не хуже тебя!»
И мир перестрою по-своему я!»
А вот и опять настает новый год,
И кучка друзей на пирушку идет.
Да только не все собрались пировать:
Один — за бостон, а другой — почивать.
Другой говорит: «не приду я, друзья:
Жена у меня и большая семья».
А третий: «ведь я человек должностной!
И мне ль куликаить с молодежью пустой?»
И вино уж не льется рекой,
И не слышно уж песни лихой,
А только, собравшись кружком,
Всяк шепчется с другом тишком.
А вот и опять настает новый год —
Да что-то никто на пирушку нейдет.
А в темной конурке горит огонек,
В конурке сидит молодец одинок.
Вино на дубовом столе не кипит,
На столике кружка с водицей стоит,
И заперты крепко затворы дверей,
Чтоб не было в комнате лишних гостей.
Вот полночь проходит — и глухо шумят,
И двери скрипят и задвижки визжат.
Со связкой ключей человечек вошел:
«Здоров, молодец! Новый год уж пришел!
Я весточку к новому году привнес,
Тебе новоселье готово у нас.
Два столба с перекладиной — вот тебе дом!
Высок и светел, и зефиры кругом,
И жаворонок в небе, как в клетке, поет,
По зелену полю гуляет народ.
Там будешь, дружок, припеваючи жить,
Пока ангелы станут в трубы трубить».
Теперь, слава Богу! дошли до конца —
За это мне дайте стаканчик винца.
Не корите, друзья, за рассказ мой плохой:
Таков уж обычай на Руси святой, —
Веселую песню за здоровье начнем,
А после на вечную память сведем.
А вам я желаю, без мук и забот,
Не раз, господа, повстречать новый год.

Валериан

На, вот тебе чарка! да к черту ступай,
И дьявольских сказок нам больше не бай!
Красавица-девица! арфу настрой,
Балладу, романс, или песню пропой.

Эмилия (строит арфу)

Тра ла ла ла ла ла...
Я знаю балладу из новых времен,
Как с войском Дон Педро вошел в Лиссабон.

Валериан

Ты спой нам балладу, где слезы и кровь,
И смерть, и война, и девицы любовь,
Где русский дерется до смерти за честь,
Свершив над тираном священную месть.

Эмилия

Я вовсе не знаю баллады такой,
Довольно вам будет и песни простой.

Песня о русском юноше.

Как цветочек, отягченный
Утренней росой,
Вся в слезах, склонив головку,
Девушка идет.

Прохожий

«Душенька, мне сердце рвется,
Глядя на тебя!
Раздели со мною горе!
Друг несчастным я!

Девушка

Под стенами Сантарема
Мой сердечный пал:
Он, как лев, за честь Марии
До конца стоял.
На широком поле битвы
Огонек горит,
На широком поле битвы
Рыцарь мой лежит.
Капуцин пришел с дарами...
«О, святой отец!

Разреши мне душу! близок,
Близок мой конец!
И последнему моленью
Воина внемли:
Обо мне на Русь святую
Весточку пошли!
Там сидит моя невеста,
Ждет в слезах меня.
О, святой отец! скажи ей,
Как скончался я!
Ты скажи, что я до гроба
Милую любил,
Умер с верой, и за вольность
Душу положил».

Певица в раздумье склонилась челом,
И бросила арфу, и — слезы ручьем.

Валериан

Красавица-радость! Что стало с тобой?
Как можно заплакать от песни пустой?

Эмилия (*в полголоса*)
На широком поле битвы
Огонек горит,
На широком поле битвы
Рыцарь мой лежит...

И снова в раздумье замолкла краса,
И белым платочком закрыла глаза.

Валериан

Красотка-душа! ты не плачь, не тужи!
А лучше нам горе свое расскажи.

Эмилия

Он спит на полях, Каталонских полях.
Два камня седые да крест в головах.
Я птичкой у матушки в доме жила,
Невинна, резва и щеславна была.
Он увидел меня — он мне сердце отдал —
И несчастный! — любви за любовь ожидал.
Он бедный художник, поэт молодой,
А я родилась большой госпожой.
Он в раздумье гулял под окошком моим —
Я, глядя с балкона, смеялась на ним.
Он презренья не снес — он был нежен душой —

И покинул наш город, и бросился в бой,
Где рать собиралась Испании всей,
Где «вольность!» кричали при звуке мечей.
Прощаясь, он руки ко мне простирая,
И долго слезами порог обливал...
Я смеялась — стояла с другим у окна,
Равнодушна, как мрамор, как лед холодна...
Он пал на полях, Каталонских полях,
Два камня седые да крест в головах...
Он письмо пред кончиной ко мне написал,
И слезное мне ожерелье послал.

*Письмо Эдмунда к Эмилии
(с посылкою стихотворений его)*

«Души моей царица! Ожерелье
Вам посыпает ваш певец младой.
Быть может, вам на брачное веселье
Поспеет мой подарок дорогой.
Не правда ль? Жемчуги богатое собранье?
Смотрите: крупно каждое зерно,
И каждое зерно — слеза, воспоминанье,
И куплено слезой кровавою оно...
Не плавал я среди морей опасных,
Не в пропастях сокровищ вам искал,
Не звонким золотом червонцев ясных
Вам ожерелье покупал:
Из сердца глубины, при светоча сияньи,
С слезами песнь моя лилась в полночный час —
Из этих песен, слез, живых воспоминаний
Я ожерелье набирал для вас.
Какнюю вам дань, с улыбкою небрежной,
Примите эту нить стихов и слез моих:
Так боги в небесах приемлют безмятежно
Куренье и мольбы от алтарей земных».

Красавица дальше не в силах читать,
И начала плакать и тяжко вздыхать...
Но гости не требуют вздохов пустых:
Им надобно песен, видений живых.
И нехотя арфу певица берет,
И песню об нежной графине поет:

Песня о графине Турн³¹

В Течене, в лесах Богемских,
Замок на скале стоит,
И под ним спокойно Эльба

Воды светлые струят.
Там графиня молодая,
И уныла, и бледна,
К небу очи подымая,
На скале стоит одна...
«Егерь, егерь мой прекрасный!
Посмотри: на небесах
Высоко уж месяц ясный,
Тихо в замке и в садах...
На террасу удалимся!
Там, в беседке, при луне,
Насладимся, насладимся,
Мы любовью в тишине!»

Егерь.

Ах, Эльвира! вы — графиня!
Кто же я! Вассал простой!
И любовь моя погубит
Драгоценный ваш покой.
Недоступный над долиной
Замок графский вознесен:
Недоступною судьбиной
Я с Эльвириой разлучен.

Графиня

Пусть мой замок превышает
Башни дальних городов!
Все препоны побеждает
Всемогущая любовь!
А когда, в бореньи с миром,
Ей победа изменит,
Как Колумб, она из мира
Обветшалого летит,
И под грозным ураганом,
Смелый пробивая след,
За могильным океаном
Новый открывает свет...

А вот одинока графиня сидит,
В раздумье, в тоске про себя говорит:

Для графа и для егеря одно
Сияет солнце над Богемскими скалами;
Для графа и для егеря равно
Струится Эльба меж зелеными лугами.
Святая Дева! чем виновна я,
Что краше он и телом, и душою,
Чем все бароны, графы и князья

С их титлами, с их пышностью златою?
Как пышно локоны его густые
Винются над возвышенным челом!
И как он мил в зеленом казакине
С своим ружьем двуствольным за плечом!
Печальный жребий свой давно я знаю,
Забыть его во веки не могу;
Разбить приличий цепи не дерзаю,
И смерти я с покорностию жду.
Чье сердце строгие законы света
Железной раздробят рукой.
Тот лишь в прохладной ночи гроба
Найдет целительный покой.
К чему, родитель, нежные заботы?
Уж Ангел смерти надо мной парит,
И блекнут от холодного дыханья
Младые розы девственных ланит...

Валериан

Друзья! чтоб достойно окончить сей пир,
В театр поспешим! там фантазии мир!
Нас опера ждет и волшебный балет:
Посмотрим, что нынче покажет поэт.

Teatr

Занавес еще не поднят. Актер выходит на авансцену и говорит.

Пролог

Почтеннейшие господа!
Сегодня мы имеем честь
Представить: *Новое виденье,*
Столицы древней разрушенье,
Иль называемый иначе,
Языческий Апокалипсис,
Дивертисмент полуволшебный —
Творенье юного поэта,
Еще сокрытого для света...
Директор не жалел издержек,
Чтоб поддержать сию пьесу
И произвестъ эффект, как должно:
Он много выписал машин
И кучу новых декораций
И всех богинь, за исключеньем Граций.
Почтеннейшие господа!
Вы снисхожденье окажите
Поэту и актерам,
И труд наш общий наградите
Рукоплесканий хором.

Увертюра. Колокольчик звенит. Занавес подымается. Театр представляет воздух и залив Ионийского моря. Вдали виден древний великолепный город. Немезида, с бичом в руках, сидит на воздушном престоле, окруженная подземными духами мщения.

Немезида

В трубы громкие трубите!
Ветры все ко мне зовите!

Духи (трубят)

Собирайтесь, собирайтесь!
Ветры с запада, слетайтесь! (трижды)
Глас правдивой Немезиды,
За столетние обиды,
Вас на мщение зовет —
Ветры! ветры! все вперед!

Ветры прилетают со свистом и шелестом и, как покорные рабы, ложатся у ног Немезиды.

Немезида (потрясая бичом)

Ветры! море обхватите,
Море к небу всколыхните,
Вздуйте волны, подымите,
И как горы, покатите
На преступный этот град,
Где оковы, кровь и смрад!

Ветры резвыми прыжками изъявляют свою радость, лижут ноги Немезиды, и потом пляшут присвистывая.

Хор ветров

Пойте и пляшите, други!
В резвые свивайтесь круги!
Мишеня, мишеня час настал!
Лютый враг наш, ты пропал!
Как гигант, ты стал пред нами,
Нас с презреньем оттолкнул,
И железными руками
Волны в пропастях замкнул.
Часто, часто осаждали
Мы тебя с полком валов.
И позорно отступали
От гранитных берегов!..
Но теперь за все обиды
Бич отмщает Немезиды!

Что? и нам пришла пора!
Ха-ха-ха! ура! ура!

Музыка играет галоп — ветры улетают попарно в бурной пляске. Являются на воздух мириады сердец, облитых кровью и пронзенных кинжалами.

Xор сердец

В грудях юношей мы бились
За свободу, правоту,
К бесконечному стремились,
Обожали красоту...
Порохом, кинжалом, ядом
Нас сей демон истреблял —
Да прольется ж над сим градом
Мшенья вечного фиал!
О святая Немезида!
Да отмстится нам обида! (трижды)

Немезида ударяет бичом. Буря начинается. Отдаленные раскаты грома — молния — ветры воют — море стонет — скалы глухо откликаются — морские птицы стаями летят к берегу — волны, вынырнув из бездны, поднимают головы к небу и целуют края ризы его. Являются мириады факелов, погасших и курящихся.

Xор факелов

Бог зажег нас, чтоб сияли
Мы средь северных ночей,
И мы с радостью прияли
Огнь от божеских лучей.
Начинал уж день отрадный
Разгонять туман густой,
Но зверь темный, кровожадный
Задушил наш век младой.
О святая Немезида!
Да отмстится нам обида! (трижды)

Немезида ударяет бичом. Большой военный корабль крутится в водовороте, разбивается о скалу и исчезает в волнах. Являются пять померкших звезд.

Xор звезд

Чистой доблести светила,
Мы взошли на небеса,
И с надеждой обратило
К нам отчество глаза...
Но кровавою рекою
Залил неба свод тиран,
И с померкшею главою

Пали звезды южных стран.
О святая Немезида!
Да отмстится нам обида! (*трижды*)

Являются бледные тени воинов, покрытые кровью и прахом: на головах у них терновые венки, перевитые лаврами, а в руках — переломленные мечи.

Хор воинов

Крепко мы за вольность бились,
За всемирную любовь;
Но мечи переломились
И иссякла в жилах кровь!
К нам народы обратили
Очи, смутные от слез,
Но — бессильные! — просили
Только мщенья у небес.
О геенна! град разврата!
Сколько крови ты испил!
Сколько царств и сколько золата
В диком чреве поглотил!
Изрекли уж Эвмениды
Приговор свой роковой,
И секира Немезиды
Поднята уж над тобой!
О святая Немезида!
Да отмстится нам обида! (*трижды*)

Немезида

Подымается с престола, и одною рукою потрясая бичом, а другою указывая на город, говорит:

Час отмщенья наступает:
Море стогны покрывает
И, как пояс, обвивает
Стены крепкие дворцов,
Храмы светлые богов.

Поликрат Самосский^{73}*

Выходит на плоскую кровлю Ионийского дворца.

О народ! народ! молися!
К небу вознеси свой глас!
За грехи карает нас
Бога вышнего десница!

Хор утопающего народа.

Не за наши, за твои,
Бог карает нас грехи.
О злодей! о волк несыйтый,
Багряницею прикрытый!
Ты проклятие небес!
Ты в трех лицах темный бес:
Ты — война, зараза, голод;
И кометы вековой
Хвост виется за тобой,
Навевая смертный холод,
Очи в кровь потоплены,
Как затмение луны!
Погибаем, погибаем!
Анафема! Анафема! Анафема!

Небо (гримя с высоты)

И ныне, и присно, и во веки веков!

Земля (глухо откликаясь)

Аминь

Последний прилив моря — город исчезает.

Небо и земля (в один голос)

Аминь!!!

Волны в торжественных колесницах скачут по развалинам древнего города;
над ними в воздухе парит Немезида, и потрясая бичом, говорит:

Мишене неба совершилось!
³² Все волнами поглотилось!
Северные льды сошли.
Карфаген! спокойно шли
Прямо в Индью корабли!
Нет враждебнее земли!

Музыка играет торжественный марш. Являются все народы, прошедшие, настоящие и будущие, и поклоняются Немезиде.

Хор народов

Преклоняемся, смиряемся,
О богиня! пред тобой,
И как дети поучаемся
Чтить любви закон святой!
Наказуется гордыня
И народов, и царей,

И равно сечет богиня
Флот и лодку рыбарей!

Все народы, настоящие, прошедшие и будущие, соединяются с служебными духами Немезиды и вместе с ними составляют большой балет. Буря утихает — и над гладкою поверхностью моря с Востока подымается вечное солнце. Музыка играет тихий марш. Небо и земля посыпают взаимные приветствия. Занавес опускается.

В заключение те же актеры имеют честь представить:

Торжество смерти
(Интермедия)

Занавес подымается. Театр представляет вселенную во всей ее красоте и великолепии. Большой балет: небесные тела проходят в стройной пляске, под музыку мироздания.

Является Смерть — прекрасный юноша, на белом коне. На плечах его развевается легкая белая мантия, на темнорусых кудрях венок из подснежников.

Небо и земля и народы земли и прочих планет сопровождают Смерть с громкими восклицаниями:

Vive la mort! vive la mort! vive la mort!*

Смерть

Обновляйся, лик природы!
Ветхий мир, пади во прах!
Вспряньте, юные народы,
В свежих вольности венках!

Юные народы теснятся около Смерти, обнимают ее колена, целуют ее серебряные шпоры и позолоченные стремена:

Vive la mort! vive la mort! vive la mort!

Хор юных народов поет
Гимн смерти

Веселитесь! Спаситель,
Царь наш, мира искупитель,
В светлом торжестве грядет!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Новый бог младой вселенной!
Мир, тобою обновленный,
Песнь хвалы тебе поет!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

1-ое Полухоре

Ветхого Творца с престола
Свергнув мощною рукой,

* Да здравствует смерть (франц.).

Царствуй, царствуй, бог веселый,
Резвый, ветрёный, живой!
Бог свободы, бог движенья,
Вечного преображенья!
Бог всесокрушающий!
Бог всевоскрешающий!
Бог всесозидающий!
Аллиуя! Аллиуя! Аллиуя!
Ветхое, ничтожное,
Слабое и ложное
Пред тобой падет!
Вольное, младое,
Творчески-живое
Смертью расцветет!
Аллиуя! Аллиуя! Аллиуя!

Корифей

Не сидишь ты на престоле,
Как властитель нам чужой,
Мрачный и враждебный воле
Нашей жизни молодой.
Нет! Ты между нами ходишь,
Нашей жизнию живешь,
Хороводы наши водишь,
С нами песнь любви поешь.

2-ое Полухорие

Посмотри: скалы седые
Распахнулись пред тобой,
И источники живые
Скачут сребряной струей.
Ступиши ты — и расцветают
Пышно из могил цветы,
Из цветов венки сплетают
Новобрачные четы.
Над могилою спокойной
Радость буйная шумит,
И обнявшись, в пляске стройной,
Дева с юношем летит.
Скрылись в рощице тенистой,
Меж отеческих гробов.
И под ивою ветвистой
Увенчалась их любовь.
Резвый бог! ты обрываешь
Розы девственных красот,
И цветок преображаешь
В сочный и роскошный плод!
Аллиуя! Аллиуя! Аллиуя!

Весь хор

Нас исхитивший от тленья
Средь темницы и оков,
Глас приими благодаренья,
Царь царей и бог богов.
А когда мы под клююю
Духом склонимся во прах,
Боже! дивною рукою
Обнови нас в сыновьях.
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Vive la mort! vive la mort! vive la mort!

Процессия удаляется. Музыка замирает в неопределенных звуках. Актеры и зрители исчезают, как тени. Поэт один, со свитком в руках, стоит на древних развалинах. Бог смерти является ему в образе черноокой венецианки и... Поэт изнывает в ее объятиях; но пред кончиной он еще раз берет арфу и прерывающимся голосом поет:

Песнь умирающего поэта

Гори, гори, мой факел томный!
Но вспыхни пред концом живей!
На мой ты жребий грустный, темный
Сиянье тихое пролей!
Вся жизнь моя — одно желанье,
Несбывшейся надежды сон,
Или художника мечтанье,
Набросанное на картон.
И страждущая грудь лелеет
Видений дивную семью:
Рука дрожит, язык немеет
Осуществить мечту мою.
Созданье вечное готово
И рвется из груди поэта —
Кто скажет творческое слово?
И разольется море света.
Давно в груди поэта рдеет
России светлая заря —
О! выньте из груди зарю!
Пролейте на небо России!

Поэт начинает бредить:

О! дайте пред кончиной
Песнь громкую пропеть!
Я с песнью лебединой
Хотел бы умереть!
Гремит на поле ратном

Победы крик в рядах,
И я, в крови, с булатным
Мечом, паду во прах...
И счаствия России
Залог вам — кровь моя!
И все грехи России
Омоет кровь моя!
Мое вы сердце в урну
С почтеньем положите!
И русским эту урну
В день славы покажите!
Хоругвь твоя заблещет,
Потомство, предо мной!
Мой пепел затрепещет
Под крышкой гробовой...
Я силой благодатной
Прольюся на Россию.
И русский нож булатный

.....

Поэт, испугавшись цензуры, умирает не докончив куплета. Занавес упадает с шумом — для кого? Поэт был последний актер и последний зритель^{74*}.

Есть веские основания думать, что «Торжество смерти» представляет собою не законченное произведение, а лишь отрывок какого-то более обширного целого. За это говорят, прежде всего, соображения по существу. Для Печерина смерть была только обновительницей: она разрушает для того, чтобы на месте старого мира мог свободнее расцвести новый. Между тем в нынешнем своем виде поэма *заканчивается* разрушением. Естественно думать, что далее следовала картина новой жизни, свободной и радостной; по крайней мере, таковы были тогда мысли Печерина. Проф. Бобров указал, что Достоевский в «Бесах» изложил поэму Печерина, приписав ее Степану Трофимовичу Верховенскому⁷³: в этом изложении «торжество смерти» является только введением, за которым следует «праздник жизни», а в последней сцене «вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее, наконец, достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим, хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с полным проникновением вещей»^{75*}. В этом насмешливом пересказе легко узнать заветные мысли Печерина. Любопытно, что и Герцен говорит о *трилогии* Печерина: «Поликрат Самосский», «Торжество смерти» и еще что-то^{76*}. Возможно, что «Торжество смерти» представляло собою среднюю часть поэмы, начиналась же поэма картиной старого мира (Поликрат Самосский!), а кончалась той картиной будущего мира, которую пересказывает Достоевский.

Три мысли скрещивались теперь в уме Печерина: мысль о неизбежной гибели старого мира, мысль о России и мысль о собственном будущем. Чем более он сживался со своей небесной мечтой, тем более Россия пугала его воображение. Личное дело — что ему придется жить в этой стране рабства и унижения — отступало на задний план; даже вопрос о трагической судьбе родного народа и общества казался второстепенным: все это затмевала одна огненная мысль — что Россия есть как бы всемирный фокус деспотизма, его главный оплот во всей Европе. Так думал не он один: это было общее убеждение всех свободомыслящих людей на Западе. Жестокое подавление польского мятежа 1831 года вызвало взрыв негодования по всей Европе. В половине 1834 года Никитенко, со слов вернувшегося из Берлина Калмыкова, заносит в свой дневник, что русских везде в Германии ненавидят, не исключая и Берлина; знаменитый Крейцер⁷⁷ сам сказал Калмыкову после взятия Варшавы, что отныне питает к русским решительную ненависть, а одна дама пришла в страшное негодование, когда Калмыков попытался защищать русских: это враги свободы, кричала она, это гнусные рабы. Год спустя, по возвращении остальных членов профессорского института, он пишет: «По словам их, ненависть к русским за границею повсеместная и вопиющая. Часто им приходилось скрывать, что они русские, чтобы встретить приветливый взгляд и ласковое слово иностранца. Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. Профессора провозглашают это с кафедр, стараясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества»⁷⁴. Мы видели выше, что говорил о русских проф. Ганс, а в швейцарской гостинице мальчик, сын хозяина, прислуживавший Печерину и его товарищам за столом, не хотел верить, что они русские? «Не может быть! Русские — варвары, дикари, медведи». Таковы были заграничные впечатления Печерина, а известия, доходившие до него из России, могли только усугублять его отчаяние. Он не мог не слышать о Сунгуревском деле в Москве (февраль 1833 г.), по которому около 30 студентов было сослано в каторгу, на поселение или сдано в солдаты, о неудачной попытке вызвать новое восстание в Польше, повлекшей за собою (с апреля по ноябрь того же года) расстреляние 24 человек в Варшаве, Люблине, Гродно и пр.; он знал без сомнения и о закрытии «Московского Телеграфа» в марте 1834 г. за неблагоприятный отзыв о пьесе Кукольника⁷⁸* «Рука Всевышнего отечество спасла», о новых арестах в Москве — Герцене, Огарева, Сатина⁷⁹* и др. (июнь 1834 г.), о разгроме студенческой корпорации в Дерпте и исключении 17 человек (февраль), и т.п. Наконец, и в самом Берлине он имел случай увидеть русскую действительность лицом к лицу. В 1834 г. приезжал в Берлин император Николай и велел всем русским стипендиатам явиться к нему в здание посольства. О том, что здесь произошло, рассказывает Пирогов в своих записках. В числе явившихся было несколько поляков; «на одном из них остановился взор императора.

— Почему это вы носите усы? — спросил строго государь, подойдя близко к сконфуженному усачу.

— Я с Волыни, — отвечал он чуть слышно.

— С Волыни или не с Волыни, все равно; вы русский, и должны знать, что в России усы позволено носить только военным, — громким и внушительным голосом произнес государь. — Обрить! — крикнул он, обратясь к Рибопьеру и показывая рукою на несчастного волынца.

Тотчас же пригласили этого раба Божьего в боковую комнату, посадили и обрили»³⁵.

Это происходило в Берлине и расправе подвергся молодой ученый, который год или два спустя должен был занять кафедру в русском университете.

Так родилась в воспаленном мозгу Печерина эта мысль о спасении человечества через гибель России, которую он облек в кошмарные образы своей поэмы. Общая задача обновления — разрушить царство «предрассудков», определилась для него точнее: надо взорвать главную твердыню этого царства — Россию. При этом он, по-видимому, не отделял Россию от ее властителей: в поэме вместе с Поликратом тонет, хотя и проклиная его, весь народ. Нельзя понять, как он представлял себе *свою собственную* роль в этом катаклизме. В поэме Поэт говорит сначала только о *мысли*, наполняющей его душу:

Вся жизнь моя — одно желанье,
Несбывшийся надежды сон...

...в груди поэта рдеет
России светлая заря...

Но потом, в *бреду*, он видит себя впереди дружин, искупляющим своей смертью грехи России.

VII

«Серый карлик»

Эту зиму (1833—34) Печерин, по-видимому, еще довольно исправно слушал лекции в университете. Несмотря на летнюю поправку, уже в конце четвертого месяца по возвращении в Берлин его нервная система была потрясена: он сам свидетельствует это в приводимом ниже письме. Его сжигала лихорадка чувства и мысли. Незыблемым в нем было одно: сознание, что старый мир должен быть разрушен. Но что должен сделать он сам? Должен ли он обречь себя на роль искупительной жертвы? Эта мысль леденила душу, но еще ужаснее была мысль о том, что его ждет на пути мирной жизни: профессорство из-под кнута, печатание стихов и статеек в русских журналах, жалкое прозябанье в рабской стране, жизнь и смерть улитки. А если обречь себя на подвиг, то как совершил его? Вернуться ли в Россию, или ринуться в бурный поток революции, как раз поднимавшийся на Западе?

В одно время с Печериным слушал лекции в берлинском университете другой мечтатель, Каспар Шмидт — он же Макс Штирнер⁸⁰. Он тоже был

филолог; с весны 1833 до весны 1834 года он сидел на тех же скамьях, что Печерин, слушал тех же профессоров: Михелета, Бёка, Раумера и др. Нет сомнения, что и в Штирнере уже тогда бродили революционные чаяния, выраженные им позднее с такой большой силой. Есть что-то символическое в том, что жизнь свела в одном месте этих двух людей. Они принадлежали к двум бесконечно разным культурам, получили различное воспитание, были до крайности несходны по складу ума и характера. И тем не менее *одна* мечта очаровала обоих, к *одной* цели повлеклись они, хотя и разными путями. Они оба утописты, то есть не приемлют истории и считают возможным взорвать историческое здание, и оба чают наступления иного царства, которое будет царством свободы и радости. Два основных положения Штирнера: «Частица свободы не есть свобода, — только полная свобода есть свобода»⁸¹, и «До сих пор мир заботился только о жизни, мы же ищем наслаждения жизнью»⁸², — эти два положения полностью содержат в себе и мечту Печерина. Это была не их личная мечта: ею была одержима в те годы вся мыслящая Европа. Они явились только ее выразителями, один в теории, другой в жизни, и, разумеется, каждый выразил ее сообразно своим природным задаткам, условиям своего воспитания и пр.; но как ни далеко разошлись их вершины, — у них был общий корень в почве их времени.

В числе бессмертных страниц, на которых величайшие из людей увековечили пламенные борения своего духа, найдется немного таких, которые могли бы сравниться с тогдашними письмами Печерина. Он не даром был поэт; ему дано было выразить то, что молча, с меньшей силою, переживают миллионы: тоску по небу, жажду бессмертия, смертельное томление души. И выразил он это в образах, от которых веет настоящим ужасом. Эта леденящая душу Мысль (человек в сером кафтане), убивающая цвет сердца, и сладострастие пытки, которое присуще ей; этот циничный скептический рассудок, воплощенный в образе испанского священника, и страшный «серый карлик» — они стоят холодного безумия Гойи³⁶.

«Берлин, 28 февр. — 12 марта. Пятница.

О, революционный трибунал! о, деспотизм анархии! Как? Я должен писать к вам, не получая от вас ни строчки? Но где же вечное правосудие? И мне же вы грозите ostrакизмом, в случае неповинования? Жестокие и неблагодарные граждане! Но я люблю Пятницу, несмотря на ее маленькие слабости; но я уважаю Пятницу и повинуюсь ее определениям. Итак —

Я давным-давно послал к вам пакетец со всяким стихотворным вздором — это не прямо для февральского праздника, а только относится к оному; это, как уже однажды сказано, не литературное произведение, а бюллетень о состоянии моего здоровья. Может быть, пакет мой лежит до сих пор в посольстве за неимением курьера — я этого не знаю — по крайней мере, я не виноват: я исполнил свою обязанность. Хотя, мимоходом скажу, я не дал бы ни гроша за человека, который только что исполняет свои обязанности...

Я давно хотел писать к вам, господа: у меня многое лежит в голове и на сердце.

Я забыл вам рассказать один анекдот, который случился со мною в Вене.

Это было в конце октября. Мы (то есть я, исключая моих товарищ) отправились в театр. Мне хотелось видеть только последнюю пьесу и окончание первой для того, чтобы сравнить венского первоклассного актера с берлинским в одной и той же сцене; эта пьеса называлась: *Дипломат*. В ожидании спектакля мы зашли в один домик, к знакомому семейству. Тут были две миленькие девушки, из которых *одна* особенно привлекала мое внимание. Я помню все подробности этого посещения; я помню: когда я собирался уйти, я долго искал своих перчаток, и наконец что ж? ошибкою схватил одну из перчаток милой девушки... Я сгорал от стыда: представьте себе! она могла бы подумать, что я хотел украсть ее перчатку... Однако ж дело развязалось самым обыкновенным образом: оказалось, что у меня с нею одни и те же перчатки, потому что мы купили их в одной и той же лавочке подле *Бург-Театра*.

Но что же делать, пока начнется спектакль? Я увидел на столе книгу in 8° в старинном кожаном темно-коричневом переплете с красным обрезом. Это был, сколько помню, какой-то латинский классик с большим комментарием. На первых страницах написаны были русские примечания бледными чернилами и большими расплывающимися буквами. Эти примечания не только лежали каймою на полях печатного текста — нет! они каким-то непонятным образом врезывались в самий текст, как заливы и бухты в твердую землю.

Автор примечаний — французский ученый, живший долгое время в России. Он знал многих из наших ученых, и даже, представьте себе мое удивление, на конце одной страницы последнее слово, написанное большими буквами, было: *Лодий*³⁷.

Француз получил эту книгу в подарок от одного молодого русского профессора и потом, умирая, завещал оную прежнему владельцу. Как она попала в Вену — не знаю.

О чем же пишет французский филолог? Ах! господа, как я жалею, что при мне не было стенографа! теперь я могу представить только слабые очерки: все это представляется мне как розово-сумрачный сон.

Профессор рассказывает об одном *видении*, которое он видел в молодости. Вот собственные его слова:

«Я был Иосиф Блаженный и ехал с пресвятою Девою Марию и непорочным ее младенцем в Египет. Вокруг меня кипела пучина невещественного света и разливалось море тончайшего благоухания...»

Здесь память отказывает мне: я не могу возобновить в воображении тех живых подробностей, с какими профессор описывает свое блаженство: для таких предметов нет красок на земле.

Далее автор примечаний продолжает:

«Вокруг меня, на мне и во мне благоухали прелестнейшие цветы. Я помню: я был в светлой, необыкновенно тихой и опрятной комнате, с светлы-

ми высокими окнами; на мраморном столе стояла греческая ваза с белыми розами.

Вдруг явился какой-то пожилой человек довольно неприятной наружности, в старомодном сером кафтане. Прыгая с необыкновенною скоростью и чрезвычайным озлоблением из одного угла в другой, он начал немилюсердно стрелять на мои цветы из бумажного пистолета, и все цветы во-круг меня, на мне и во мне, по краям моей одежды и в глубине моего сердца, сильно трепетали от ужаса, как в лихорадке, так что с прекраснейших белых роз опало несколько лепестков. Но, клянусь Богом, Святою Девою Марию и непорочным ее младенцем, никогда, в самое лучшее время моего блаженства, я не был так счастлив, как в эту минуту ужаса...»

Опять кисть моя выпадает из рук... Я не помню слов профессора, но звук их, чистейший золота и серебра, доселе звенит в душе моей, как, в тихое утро, колокольчики стад на Альпийских лугах.

«Между тем, как я погружен был в чтение этой таинственной книги, вдруг дверь отворилась с шумом и вошел испанский священник в черной мантии... Он с бешенством бросился на меня, вырвал из рук моих книгу, бросил ее на пол, топтал ногами, кричал, бранился, называл меня проклятым еретиком... Я оледенел от страха, у меня сердце перестало биться, мне казалось, что воплощенная инквизиция стоит передо мною...

Испанский священник мало-помалу смягчился, говорил тише, тише, ласковее, и наконец он помирисся со мною, и мы сделались друзьями до того, что он хотел подарить мне на память изобретенный им карманный воздушный насосик, такой насосик, которым в несколько секунд можно вытянуть всю кровь из самых свежих и сочных щечек... Я не согласился принять подарок, но теперь жалею об этом. С этим волшебным насосиком можно бы очень приятно путешествовать по свету, делать тысячу забавных проказ и приобрести известность, на зло *серому карлику*.

«Как? Серому карлику? Кто такой серый карлик?» — Тс! тс! берегитесь, чтобы он не услышал вас! Вы не знаете серого карлика? Но, господа — Матильда! сходите за чернилами. Да вот уж и десять часов — пора идти к Бёку. На следующем листке я вас познакомлю с серым карликом и серым философом. Серый цвет есть цвет — мистицизма».

«1—13 марта. Вы не знаете серого карлика? Да, господа! он мал, как и все карлики, но иногда он в одну секунду перерастает меня, и, стоя за мною, наклоняется ко мне через голову, бесстыдно заглядывает мне в лицо и, насмешливо скаля зубы, шепчет мне на ухо свое позорное имя: *Посредственность*.

Я. Прочь, прочь, чудовище! Я не хочу тебя знать! Я не продам тебе души своей!

Серый карлик (с диким хохотом). Ха-ха-ха! Не сегодня, так завтра! Рано ли, поздно ли, все-таки будешь мой. И почище, брат, тебя попадались в мои когти! — Да! вот так-то иной молодой человек закутывается в длинный

плащ, как в римскую тогу, и подымает свою душистую фризуру к небу, и, с запыленными ногами, стоит у двери журналиста и просит жалобно: «Ради Христа! хоть крошку, хоть каплю известности! известности! известности! какой-нибудь известности!» И журналист дарит ему позорную известность русских журналов. А я, бедный карлик, сижу покамест, приютившись в складках его плаща; а придет время, я распахну плащ — и повязка падает с глаз молодого человека. Он думал, что на нем золото и бархат, а теперь видит — рубище и наготу; он думал, что он какой-нибудь великий англичанин, а оказалось, что он русский дюжинный писака... Что ж тогда? — Тогда — тогда — молодой человек заглядывает в дуло пистолета, или, — чтобы выразиться по-вашему, романтически, — потопляет неподвижный взор в мрачной бездне пистолетного дула. О, дружок! послушай меня! Мне, право, жалко тебя! Послушай меня! и лучше заранее отдайся мне! Право, у меня хорошо! Ты будешь сыт и одет и обут, и будешь в золоте ходить, и тебе наденут красную ленту через плечо, а, может быть, под старость и камер-юнкером сделают...

Вольдемар (судорожно дергая за шнурок колокольчика). Прочь! прочь! — Гей! кто там! люди! — Прочь, безобразное, проклятое существо! Не показывай мне своего эфиопского лица! Я вижу у тебя на груди знак беспорочной службы. — О! не терзай меня долее! исчезни!

Серый карлик. Ха-ха-ха!

Он засмеялся таким адским смехом, каким смеялся Нерон, когда травил зверьми христиан, заищих в кожаные мешки, или каким смеется русская помещица, когда она велит сечь до смерти своих девок; — он засмеялся и исчезнул в старых филологических тетрадях.

Sophie (вбегает в неглиже). Что с вами, *Вольдемар*? откуда этот дикий смех? Опять ваши несчастные припадки! Успокойтесь! выпейте стакан лимонаду!

Вольдемар. Как! ты не видала его, *Sophie*! Ax! что я говорю? ты никогда его не увидишь, милая! Женщинам он не является.

Sophie. Кто такой? о ком вы говорите?

Вольдемар. Ax! ты не знаешь, какой тлетворный яд, какие адские муки в одном имени этого существа! Ты не знаешь, что один звук его имени подымает у меня дыбом волосы, потрясает мозг в самом основании и влечет меня к бешеному сумасшествию!.. Терзания пытки на раскаленном колесе, позорная смерть на виселице лучше, стократ лучше, нежели один этот звук: *Посредственность*!

Sophie. Ax! я несчастная! Что мне с вами делать? — А все это от того, что вы по ночам гуляете с серым философом...

«Я должен прервать Софию на несколько минут, и сказать вам слова два о сером философе... Она права: действительно, я часто в полночь выхожу из своей квартиры, иду под Липы: там обыкновенно присоединяется ко мне небольшой человек в серой шинели, в белой пуховой шляпе с длинными полями. Он очень не дурен собой; он моложе меня, но жил несравненно больше. Он философ и поэт, но философия его так же мрачна и неутешите-

льна, как дика и неграциозна его поэзия. Мы ходим с ним под липами, в тихую ночь после дождливого дня; луна то прячется за облака, то сияет в полном блеске на темно-голубом небе, и мокрые тротуары блестят, как серебро... Мы перебираем все важнейшие философские вопросы. Все девки спят в то время — следовательно, некому возмутить наших глубоких изысканий. Иногда я читаю ему стихи свои — это единственный человек в Берлине, которому я читаю свои стихи. В другое время я скажу вам что-нибудь об оригинальной философии и поэзии серого философа, а теперь я должен возвратиться к словам Софии...»

Sophie. Да, вот вы толкуете, толкуете с серым философом — а пользы нет никакой! Если бы я была на вашем месте, я давно бы села на борзого коня и ускакала бы за тридевять земель...

Вольдемар. Милая амазонка! С такою женщиною я желал бы прожить несколько времени, по контракту! — Да, *Sophie*, румянец на щеках моих вспыхнет и погаснет, как блудящий огонек над могилой. Если я завтра же умру — *Sophie!* для чего я жил? Останови мои часы, *Sophie!* Останови время! Останови жизнь! Нельзя ли остановить жизнь на время? Я не хочу жить, пока мне не скажут, зачем я должен жить?

Есть, *Sophie*, в каждом человеке невидимый бог его индивидуальности, который вместе с ним зачинается во чреве матери, вместе с ним рождается, растет и развивается... Я слепо доселе следовал моему богу... Он, с малых лет, давал мне самые пышные обещания. Что если этот бог обманет меня? Что если он покинет меня в решительную минуту, как покидают нас друзья детства при важном переходе из юности в мужество? Но теперь уж поздно действовать самостоятельно. Я пойду, как слепец, за моим богом. Куда ты меня ведешь, таинственный дух? Что ты мне готовишь? О! приподыми завесу грядущего!

Таинственный оракул! отвечай!
Какие подвиги ты мне готовишь?
Скажи! скажи! чтобы для новых дел
Я мышцы укрепил, и как жених,
Как исполин, на бой готовый, вышел!
Что суждено народу моему?

Еще одна мысль, *Sophie*, лежит тяжелым камнем на душе моей. Я часто думаю: какой свинцовый фатализм тяготеет над человеком! Так иной рождается негром и всю жизнь остается негром, и дети его — негры, и внуки его — негры, и правнуки его — негры, и нет спасения! нет надежды! А другой рождается свободным, гордым англичанином, и устремляет взор сострадания на бедных негров, и в своем всемирном парламенте красноречивою речью утверждает билль освобождения негров. Но увы! этот билль действует медленно — им насладятся будущие поколения, а мы, — мы, старые негры, мы истечем кровью под ударами бича немилосердных владельцев.

Что значит отечество в наш образованный век? Мы вырвались из цепей

природы! мы стоим выше ее! Физические путы нас более не связывают и не должны связывать. Глыбы земли — какое-то сочувствие крови и мяса — неужели это отечество? Нет! мое отечество там, где живет моя мысль, моя вера! Мысль, которой жил Катон, оставляет землю, и Катон последует за нею на небо^{83*}. Христос велит нам оставить отца, мать и братий — для чего? для одного слова! для одной святой мысли! Эта мысль, это слово, эта вера живут во мне, Sophie, в их новом, прозрачном, вольном образе!

Но я родился в стране отчаяния!

Sophie! твое имя означает Премудрость! Божественная Премудрость! Садись и разреши сомнения мои! А вы, друзья мои, соединитесь в верховный ареопаг и судите меня! Вопрос один: *Быть или не быть?* Как! жить в такой стране, где все твои силы душевые будут навеки скованы — что я говорю, скованы! — нет: безжалостно задушены — жить в такой земле не есть ли самоубийство? Мое отечество там, где живет моя вера!

«Вольдемар вероятно еще будет говорить на целых двух листах; но если всякий раз посыпать огромные пакеты, то наконец посольство не станет их принимать.

До свидания, пишите же!».

«Чрезвычайное прибавление. 3—15 марта ввечеру. Сегодня проф. Ганс окончил свои лекции о *Философии истории*. Число слушателей его до такой степени увеличилось, что он должен был просить их перейти в аудиторию № 17. Это — огромный зал, в котором позолота на стенах напоминает прежнее его назначение (известно, что нынешнее здание университета служило дворцом принцу Иоанну, брату Фридриха Великого).

Здесь красноречивый профессор, доведши историю до последней минуты настоящего времени, в заключение приподнял перед своими слушателями занесу будущего и в учении Сен-Симонистов и возможностях работников (*coalitions des ouvriers*) показал зародыш предстоящего преобразования общества. «Понятие *чёрнь* исчезнет. Низшие классы общества сравняются с высшими, так же, как сравнялось с сими последними среднее сословие. История перестанет быть для низшего класса каким-то недоступным, ложным призраком — нет! история обымет равно все классы; все классы сделаются действующими лицами истории, и тогда история сольется в одну светлую точку, из которой начнется новое, совершеннейшее развитие. Таким образом христианство достигнет полного развития своего».

Он еще много говорил такого, о чем здесь писать не место, и чего я не в состоянии передать равносильно. Довольно того, что у меня невольно выступили слезы на глазах; что все огромное собрание сидело в торжественном молчании, как бы прощаясь с прошедшим и с трепетом слыша гигантские шаги близкого будущего, которое как будто стучалось в двери этого огромного и древнего зала.

Он кончил, поблагодарив слушателей за лестное их внимание: это внимание он относил не к собственному достоинству, но к важности самого предмета, «ибо история есть зерно всякого знания и для всех равно имеет

высокий интерес, потому что каждый из нас принадлежит к истории и живет в оной.

Он кончил, и громкие рукоплескания, оглушающие «браво! Vivat Gans!» покрыли последние слова оратора. При этом разумеется и ваш приятель Мелеагр не ударил лицом в грязь и голос его возвышался над всеми голосами.

Я думаю, что это была приятная минута для Ганса, хоть он и привык уже к подобным триумфам. Не менее приятная минута была и для меня, и, я думаю, для всех слушателей.

Ганс есть красноречивейший и, что всего важнее, *народнейший* (*le plus populaire*) из берлинских профессоров. Он принадлежит к школе Гегеля, к которой теперь принадлежат все первоклассные таланты Берлина».

Печерин конечно не в первый раз слышал здесь о «возмущениях рабочих» и сен-симонизме (это имя он уже раньше как-то упомянул в письме). Нет никакого сомнения, что он давно уже с жадностью следил за грандиозным умственным движением, нараставшим тогда во Франции и Англии, где в учениях Сен-Симона, Фурье, Оуэна, научно и практически разрабатывалась *его* мечта о «лучшем мире». По намекам в его письмах видно, что в последний год своего пребывания в Берлине он все больше обращается лицом туда, на запад, где всходит заря нового дня; именно этот смысл имеют его слова: «мое отчество там, где живет моя вера».

Это письмо было писано в феврале-марте 1834 года. Прошел только год с тех пор, как Печерин уехал из Петербурга, и столько же оставалось еще до конца его командировки, то есть до той минуты, когда он должен был решиться.

VIII

Отчаянье

За этот год он мало писал петербургским друзьям. Он помнил и по-прежнему любил их, но внутренне он далеко ушел от их мирной жизни и прекраснодушных надежд. Его душевная жизнь стала пыткою. Мысль о возвращении в Россию бросала его в безумие. Ужаснее всего было сознание, что он *не может* решиться: не хватает силы порвать с прошлым и отказаться от соблазнов жизни, не хватает смелости отаться неизвестному будущему. Все его существо вопияло о силе; надо стать твердым и холодным, как сталь, — вот что надо во что бы то ни стало. Надо с корнем вырвать из сердца все влечения, привязанности, привычки, надо стать холодным и расчетливым исполнителем своей мысли, безжалостным ко всем в себе и в мире, что противодействует ей. С каким-то сладострастием Печерин обнажает жизнь от всех иллюзий, которыми украсил ее человек, чтобы не видеть ее лица. Чем больше он предавался своей мечте, тем более он ожесточался.

Летом Печерин дважды — и то только по случаю — писал к Никитенко. В это лето часть воспитанников профессорского института возвращалась в Россию. Это было как бы *memento mori*^{*} для Печерина.

«10 июня. Любезнейший Александр Васильевич!. Г. Калмыков уезжает завтра очень рано — мне остается менее часа для этого письма. Сверх того, представьте себе, что теперь половина первого, и я ужасно голоден — и утомлен, истощен четырьмя лекциями сряду, из которых три убийственно-филологические... Нет! нет! уже прошла пора слушать лекции!

Министр так был добр, что позволил мне ехать в Италию, и потому я с нетерпением ожидаю 1-го августа (н.ст.) — день моего отъезда. Не знаю, далеко ли проеду — это будет зависеть от политических обстоятельств. Но я снова увижу Альпы, Альпы, Альпы! и ломбардские равнины, и услышу сладостные звуки итальянского языка!

Г. Калмыков весьма желает познакомиться с вами лично, и вот почему я пишу именно теперь, в половине первого часа пополудни с голодным желудком.

Когда получу ваше давно обещанное большое письмо, тогда вечерком или утром присяду и предамся на досуге удовольствию беседовать с петербургскими друзьями.

Я хотел было вам послать еще что-нибудь стихотворное, хотя и не поэтическое.

Но кому же в ум придет
На желудок петь голодный?

В заключение скажу вам, что все германские знаменитости мало-помалу затмеваются в глазах моих. Верьте мне, любезнейший Александр Васильевич: света и теплоты нам должно ожидать с Запада, из Англии и Франции, а не из черствой, закоптевшей в кнастере Германии. Клянусь вам Богом: здесь все те же парики, немецкие тяжелые парики, над которыми смеялся Фридрих Великий и которых он поделом не удостаивал своего покровительства. Холодный, грошевый скряга-народ! В его храмах нет светлых образов божества — нет Мадонны. Он поклоняется златому тельцу, перелитуму в звонкие луидоры.

Обо всем этом совсем иначе будет говорить с вами г. Калмыков; но мы с ним в этом отношении принадлежим к совершенно противоположным партиям...

И Гегелева философия мне надоела. Я вообще неблагодарен: высосав из нее все, что в ней было сочного, я бросил наконец этот бездушный труп на распутьи. Пускай другие птицы сельские расхищают его на части. Верьте мне, господа: *даже и в философии* немцы пошлый народ. До свидания, любезнейший Александр Васильевич, ваш В. Печерин».

Второе письмо писано две недели спустя.

«Берлин, 24 июня — 5 июля. Еще одно рекомендательное письмо, любезнейший Александр Васильевич! — Петр Григорьевич Редькин, один из

* Напоминание о смерти (лат.)

любезнейших мне товарищем моим, с которым я вместе путешествовал, с которым, в Берлине, делил постоянно веселье и горе, — представляется вам вместе с этим письмом. Примите его дружелюбно в вашей гостеприимной сени, и сотворите тако в мое воспоминание. Он расскажет вам многое о нашем общем путешествии (о чем мне самому лень рассказывать), и о том, что я теперь предпринимаю.

Так мало-помалу, один за одним, северные варвары возвращаются в свою орду. Калмыков, без сомнения, был уже у вас. Что касается до меня, то я надеюсь, что Бог, в бесконечном милосердии своем, не даст мне скоро увидеть бесплодных полей моей безнадежной родины.

Друзья мои! Друзья мои! Я уеду отсюда 15-го августа (3-го). Неужели я должен уехать, не получив от вас так давно обещанного и так долго и нетерпеливо ожидаемого письма? Неужели вы не знаете, что ваше слишком продолжительное молчание может даже беспокоить меня? Неужели вы не знаете, что может значит, когда молчат из России?

Но я охотнее предаюсь той утешительной мысли, что причиной вашего молчания — одна леность.

Приветствую членов Пятницы всех и каждого, а в особенности И.К. Гебгарда и М.П. Сорокина.

В своем письме вы, вероятно, напишете ко мне подробно обо всем, что до вас касается, и потому я, щадя чернила и бумагу, не буду ставить излишних вопросительных знаков: как вы поживаете? что вы поделываете? здоровы ли вы? и пр.? и пр.? и пр.?

Если бы вы захотели знать, что я делаю, то было бы довольно трудно вас удовлетворить, тем более, что почти шесть месяцев прошло с тех пор, как я отправил к вам последнее письмо свое. Шесть месяцев — много, особенно для человека, которого занятия и вкусы меняются каждую неделю и каждый день.

Я читал Байрона — потом историю Англии — потом историю Франции — потом Геродота — потом романы Больвера⁸⁴, гениального Больвера, — и, наконец, теперь читаю Тацита, день и ночь (впрочем, это риторическая фигура, потому что я никогда ничего днем не читаю). Я пожираю каждую страницу Тацита. Его Летопись⁸⁵ так отрадно подымает и волнует мою желчь! Это сладостная горчица! это sauce piquant!** и как все это питает и разогревает во мне упоительное чувство ненависти!

Как сладостно — отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничиженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!
(Я этим набожных господ обидеть
Не думал: всяк свое имеет мненье.
Любить? — любить умеет всякий нищий,
А ненависть — сердец могучих пища!)

• Пикантный соус (франц.).

Тогда в конвульсиях рука трепещет
 И огненная кровь кипит рекою
 И, как звезда, кинжал пред оком блещет,
 И в темный путь манит меня с собою...
 Я твой! я твой! — пусть мне навстречу хлещет
 Весь океан гремящею волною!..
 Дотла сожгу ваш... храм двуглавый,
 И буду Герострат, но с большей славой!^{86*}

Вы видите, что нечистые духи доселе не оставляют меня. И с серым философом, от которого София со слезами предостерегала Вольдемара, я знакомлюсь все короче и короче.

«Однажды Sophie сидела у окна и вязала — чулок? — О, нет, избави Боже! Все немки вяжут чулок на гулянье Под липами, и потому чулки мне ненавистны... Нет! София, милая София вязала для своего Вольдемара кошелек, из трех шелков. Что нужнее кошелька?

Вольдемар сидел за письменным столом и водил пером по бумаге. — «Чем вы так прилежно занимаетесь, Woldemar?» — Вольдемар не отвечал ни слова, даже не пошевелил головою.

Резвая Sophie подбежала, вырвала, смеясь, бумагу из рук его — «Fi! Woldemar: какие гадости вы рисуете!». На бумаге были нарисованы кинжалы во всех возможных направлениях».

Уж не думает ли он о цареубийстве? Наивный человек! Разве из такого теста создаются Гармодии и Бруты? — Народ вводят в обетованную страну не те, кому дано с вершины увидеть ее.

Печерин опять побывал в Швейцарии и Италии, опять — и еще больше прежнего — упился красотою. Об этом втором его путешествии нет никаких сведений; но в трех стихотворениях, написанных им тогда, ясно отразились его мысли и чувства. Как есть в ослепительной яркости летнего полудня на юге некая чернота кромешной ночи, так в этой глубине счаствия его томило мрачное предчувствие. Он знал, что эта действительность — для него сон, что это счастье отмерено ему скопою рукою, — он должен будет проснуться.

I

Ночь в Неаполе³⁹ 9-го ноября

Сладострастной теплотою
 Чистый воздух растворен,
 И блестящих звезд толпою
 Небосклон весь озарен;
 И, с спокойною душою.
 Опершился на балкон,

Я стою — вдали за мною
Раздался гитары звон;
С флейтой, с песней удалою,
Сладостно сливался он,
И волшебною игрою
Навевал мне тихий сон...

«Спи!» фортуна мне шептала:
«Спи, дитя! я, над тобой
Распростерши покрывало,
Охраняю твой покой.

«Спи! и золото, и девы
Усладят твой легкий сон,
И бессмертных муз напевы,
И парнасской лиры звон.
«В утлом членоке со мною,
Спи, качаясь меж валов!
Правлю я твоей ладьем
В шуме вихрей и громов!»

II.

Римские вечера

на

Monte Pincio^{87*}

Там, над куполом святым,
Звездочка любви всходила
И на свой любезный Рим
Взором матери светила.

Но подчас она бледнела
И, как факел меж гробов,
Тусклым пламенем горела
Над могилами сынов.

И скрылося, как сон,
Рима дивное виденье,
И ты снова погружен
В жизни мутное волненье!

И к Неаполя брегам
Ты летишь с печальной думой:
Там, гуляя по гробам,
Прояснишь ли взор угрюмый?

Нет! напрасно ты бежал
От души глухого стона
Под навес швейцарских скал
И под купол Пантеона!

Все прекрасное пройдет!
Ветерок надул ветрило
И к Германии унылой
Быстрый челн тебя несет.

III.

Солнце и поэт
(Сцена в Неаполе)

21-го октября.

Солнце

От дремоты тягостной
Пробудись, пиит!
И Неаполь сладостной
Песнью загремит!
Посмотри, как блещут волны
Царственной красой!
О, мой сын! восторга полный,
Вспрянь и волны пой!

Поэт

Океан блестит от века
Тою же красой:
Скучно! дай мне человека
С бурною душой!
Этот яркий блеск созданья
Как уныл и пуст!
Дай услышать вздох желанья
Из пурпурных уст!
Пусть забьется сердце девы
На груди моей,
И тогда мои напевы
Грянут вдоль морей!

Он вернулся в Берлин и прожил здесь еще более полугода. Письмо, которое я сейчас приведу, писано в последние дни 1834 года, приблизительно через две недели по возвращении из этой поездки. В нем есть намеки на какой-то «случай» и на какую-то женщину; но мы ничего не знаем об этом случае и не знаем также, о какой женщине идет речь, кто была эта Ульрика. По-видимому, одною из причин его возвращения было полное отсутствие средств: отсюда его бешеный сарказм там, где он говорит о деньгах.

«Берлин, 4 января 1835 — 23 дек. 34. Любезнейший Александр Васильевич! Мне ли сомневаться в вашей дружбе? Мне ли сомневаться в вас, когда в последнем вашем письме я опять узнаю прежнего философа-мечтателя? Да!

когда вы говорите: «начинают уже проявляться прекрасные души, которые» и пр. и пр. и пр. — о! тогда мне приходит охота засмеяться, громко засмеяться тем ядовитым сардоническим смехом, который я перенял от серого философа... Так вы верите, что какая-нибудь из этих *прекрасных душ* может устоять против толстого пучка ассыгнаций или кусочка голубенькой, красненькой или полосатой ленточки? Так вы верите... О! если вы еще во что-нибудь верите, то вы — мечтатель! вы профессор! вы провинциал! вы оригинал! Вы никогда не жили в свете и не умеете жить в свете.

Я, благодаря Бога, разделался со всеми верованиями и теперь ни во что больше не верю. — Ах, нет! извините: я верую, твердо верую — в полный кошелек, когда он у меня в кармане. Деньги — вот мой символ веры! Вот лучшее ручательство свободы человеческой! без сомнения, лучше какой-нибудь нелепой конституции! *Ротшильд* — вот мой идеал свободного человека! О! как бы я желал быть Ротшильдом или, по крайней мере, Мендельзоном или Штиглицом^{88*} (если только он не обанкротился)! Представьте себе! я даю огромный обед и за столом моим сидят первейшие дипломаты, люди, правящие судьбами Европы... Эти господа очень хорошо знают, какими пружинами управляет наш подлунный мир — и потому они смеются, и имеют полное право смеяться над вашею братьем, ободранными философами, когда вы в ваших утопиях мечтаете о каких-то небывалых гражданских добродетелях...

Так, это решено: отныне главною целью моей жизни будет благородное занятие — копить деньги! Деньги! деньги! С деньгами я имею четверку лошадей и блестящий экипаж и право забрызгать грязью с головы до ног первейшего философа в мире. С деньгами — у меня десять, двадцать прелестнейших любовниц; с деньгами — берегитесь, мужья! горе! горе вам! О, фортуна! ты будешь наконец моею! я выпью до дна чашу, полную чаши чувственного наслаждения, и умру с устами, припекшимися к краям ее!

Вот вам отрывки из моего журнала:

«30 декабря. Я топал ногами — я проклинал фортуну. Деньги! деньги! деньги! Если бы я имел деньги, я бы тотчас взял Ульрику на содержание — жил бы с нею — запер бы ее за железные решетки — и она была бы моя, моя исключительно».

Вы не можете понимать меня, потому что вы не видали Ульрики с ее голубыми глазами, с ее детскою, плутовскою улыбкою, с ее стройным станом, полною грудью и нежно-округленными ляжками...^{89*}

«2-го декабря, в три часа ночи, я сидел в огромной комнате, перед большим черным камином, на почтовой станции между Римом и Чивитавекия — в углу ворчала собака, чуя иностранца — я отогревал свои ноги и правлял дрова в камине, говорил в душе своей прощальные слова Италии:

Италия

«Слезы вдохновения, слезы умильтельного воспоминания, слезы первого человека о потерянном рае льются из глаз моих, когда я думаю об тебе, Италия!

Италия! Италия! погасший вулкан физический и нравственный! Плодоносная земля полубогов! В твоей тучной почве хранятся драгоценные семена. Придет время, и когда-нибудь, в прекрасное утро, твое солнце взойдет яснее, заблещет ярче, и семена твои прозябнут и стройными пальмами подымут к небу величавые главы свои». —

«Я прожил в Италии четыре месяца, свободный, беззаботный, как Бог. Это были дни безоблачные и на небе, и в сердце моем. Правда, под конец моего путешествия меня постигли маленькие неприятности, которые чернь называла бы несчастиями. В Неаполе я три или четыре дня стоял между двумя пропастями: мне оставалось или застрелиться, или умереть с голоду. Было еще и третье средство — спать на мостовой и просить милостыни, что очень не трудно под ясным неаполитанским небом. Но я был уверен, что мне не достало бы мужества ни застрелиться, ни просить милостыни, и потому я решался уже запереться в своей комнате, лечь в постель, закутаться в одеяло и таким образом философски ожидать смерти...

Но это были минуты, секунды перед вечностью моего блаженства... В четыре месяца я прожил целую жизнь: я обнял горячими объятиями не холодный труп, но исполненную свежей жизни богиню Древности: да! я видел эту Клеопатру лицом к лицу и роскошествовал и замирал в ее объятиях... В четыре месяца я приобрел несколько опыта, приобрел спокойный взгляд на бурное море жизни.

Оно кипит однообразно,
Как пена средиземных вод,
И за волной волна согласно
Восходит с шумом и падет.
Я часто был в Вилла-реале⁴⁰
И пригляделся я к волнам,
И грозные те волны стали
Обычным зрелищем очам.

Если мне не суждено возвратиться в Рим и жить, долго жить в Риме — по крайней мере я желал бы умереть в Риме! О! если я умру в России, перенесите мои кости в Италию! Ваш север мне не по душе. Мне страшно и мертвому лежать в вашей снежной пустыне.

О, как сладко спать в священной римской земле, под этим вечно-ясным небом, в тени вечно зеленых кипарисов, на Английском кладбище, подле пирамиды Цестия! Прекрасное было утро, когда я осматривал это кладбище и пирамиду, и на меня нашла какая-то грусть, какое-то предчувствие — может быть здесь лягут мои кости! Мои глаза даже выбрали место — там, где три кипариса стоят вместе — вот венец моих желаний! Друзья мои! похороните меня там — и я был счастливейший из смертных!».

«О, Рим! Рим! единственная цель и самый блестящий пункт моего путешествия! Мне ли тебя забыть? мне ли забыть твои упоительные вечера и прогулки на Monte Pincio, и твоих классических дев с полными грудями и черными огненными очами?

О, если бы вы знали, какие змеи гложут теперь мое сердце! какое борение страстей в груди моей! — Она уже ступила одною ногою в пропасть и с каждым днем, с каждым часом, с каждою минутою должна спускаться ниже, ниже, ниже. И я должен быть равнодушным зрителем — и судьба ее в руках моих! Еще минута — и она погибла! еще минута — и она спасена! Я могу быть ее богом-искупителем, ее творцом всемогущим, — я могу вырвать ее из праха — вознести ее до небес — сделать ее счастливейшою женщиной, царицею, богинею! И все это зависит от меня — зависит от лоскутка прусской ассигнации, которой теперь у меня нет в кармане. Вот зависеть судьбы! Ангелы и дьяволы, Небо и Ад стоят в неподвижном ожидании (хоть я не верю ни в то, ни в другое) — и ждут моего решения, моего всемогущего творческого слова! Но с другой стороны, когда я войду в самого себя, когда я загляну в свою душу, я стыжусь и изумляюсь нелепости и бесмысленности своих чувствований. Это каприз! это своеенравие! это сумасшествие! — О! внутри меня не осталось никакой точки опоры — вся моя жизнь извне. Мне ненавистны все книги: что в них нового? Мне кажется, я все перемыслил и перетерпел. — Скучен нестерпимо театр — Боже мой! самый лучший актер, Гаррик. Тальма^{90*}, только обезьяна. Что его кривляния перед смертными конвульсиями страстей, какие я наблюдал и испытал в действительной жизни? — О! я мученик моей непостижимой глупости!»

«10 января. И вот в каком состоянии я возвращаюсь в Петербург! — На меня подул самум европейской образованности, и все мои верования, все надежды облетели, как сухие листья. Что мне осталось? Я возвращаюсь к вам без любви к науке, ибо, чтобы любить науку, нужно веровать в ее достоинство, веровать в усовершенство рода человеческого. Что мне делать между вами? Веровать ли в вашу Пятницу? О Боже! и жалко, и смешно! Я перестал верить в целые государства, а положусь на ваше мелкое общество!

И, обнаженный от всех верований, я еще верую — о смейтесь! смейтесь! еще верую — в женщину!!! Я, безумец, мечтаю, что могу быть Пигмалионом этой бездушной Галатеи. — Но кто же вам сказал, что в материи может быть какая-нибудь искра божества! О, мучение, адское мучение! Случалось ли вам когда-нибудь? — вы хотели быть Богом — создать что-нибудь, — и земная материя оставалась непослушною, неподвижною, бесчувственною — прахом прахом!

Я плачу слезами бешенства — эти слезы горче морской воды — они так едки, что могут переесть самое крепкое железо.

Я поставил все сокровища моего сердца на бубновую даму — и она идет налево. — Я расточаю все богатство моих чувствований — всю поэзию души — и перед кем? перед кем!!! Я обманываю себя, хочу, чтоб и она про-

должала меня обманывать, я закрываю глаза — о! если я их совсем открою — передо мною будет смрадная бездонная пропасть.

Это прекрасное тело, округленное по образцу греческих Афродит, это прекрасное тело, которое я боготворю, перейдет завтра же, может быть, — может быть, через несколько часов, перейдет, как товар, в самые пошлые руки. — Этот прелестный ротик, который с дьявольскою улыбкою беспытно нашептывает мне святые слова любви — завтра же, с тою же улыбкою и теми же словами будет говорить с другим и с третьим! — Думали ли вы, чтобы я когда-нибудь дошел до такого сумасшествия? Любить? мне любить? и кого? Кого? о Боже милосердный!

К чему же служили эти философские курсы! это изучение систем древних и новых! Чтоб остаться таким же ребенком, как и прежде? Вот ваши теории! Вот ваше так называемое литературное воспитание! Вот чтение поэтов! О Платон! Платон! ты прав! В этом одном ты не был мечтатель, когда хотел выгнать поэтов из твоей республики⁹¹.

Я хотел к вам писать, много писать об Италии! но теперь это принадлежит уж к области вымыслов. Я забыл об моем путешествии. Интерес настоящего поглотил всю мою душу. Случай! случай! Вот что управляет миром! Зачем она, именно она, а не другая представилась глазам моим?

И зачем, о Боже милосердный, позволяешь ты, чтобы нечистые черви оскверняли прекраснейшие цветы твоей природы? Зачем есть на земле люди, которые влачат во прахе прекрасное? Прекрасное! но где оно? но что оно? материя! Материя! — Она создана так точно, как Лаура, как Элоиза!⁹² Зачем же Ты позволил людям исказить прекрасное творение рук твоих?

Ты сидишь на твоих небесах и смеешься над нашим детским ропотом! Как будто Ты можешь заботиться о том, что осел затоптал в грязь розовый куст! Как будто Ты можешь сострадать, когда гибнет какая-нибудь женская душа! Все теории! все мечты! Когда мы отделаемся от школы и университета!

Не читайте никому моего письма! Не предавайте меня на позор! Я пишу к вам потому только — потому только, что мне нужно же как-нибудь излить свою душу на бумагу — а для этого всего лучше почтовый лист, который я могу поскорее сбыть с рук, отправив его на почту».

IX

Возвращение — Москва

Под 17 июня в дневнике Никитенко записано: «Возвратились из-за границы студенты профессорского института. У меня были уже: Печерин, Кутторга младший, Чевилев... Они отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве (крепостного) рабства. Особен-но мрачен Печерин. Он долго жил в Риме, в Неаполе, видел большую часть

Европы, и теперь опять заброшен судьбой в Азию». А сам Печерин много лет спустя писал (в том отрывке из своих воспоминаний, который я уже не раз цитировал): «Через два года я возвратился в Петербург, с какою неизлечимою тоскою в сердце, с какими отчаянными планами для будущего, — не здесь место об этом говорить»⁹³. На первый раз не хватило мужества: он малодушно вернулся.

Был учрежден, под председательством Уварова-министра, комитет для «справедливого и безотлагательного» размещения воспитанников профессорского института по русским университетам. Печерин сразу почувствовал себя вещью, которой власть вправе распорядиться по своему усмотрению. Предварительно он должен был еще, как и другие стипендиаты, прочитать пробную лекцию на тему, назначенную комитетом (в состав последнего входил и Грефе). Лекции эти были читаны в малой зале Академии Наук в промежуток от 18 июля до 5 сентября. Печерин читал по-латыни на тему: надгробное слово Перикла из второй книги Фукидида⁹⁴. Он защищал подлинность этой речи, между прочим, «внутренними доказательствами, почерпнутыми из господствующего в целом сочинении духа» и «сравнением речей Фукидида с нынешними парламентскими речами»⁴¹. 7 августа 1835 г. состоялось назначение Печерина. Никитенко пытался отстоять его (и Крюкова) для Петербурга, того же хотел и попечитель, но другие университеты также нуждались в профессорах. Печерин был назначен в московский университет, преподавателем греческой словесности и древностей.

Он был еще только кандидат; ему предстояло, значит, прежде всего сдать в Москве экзамен на ученую степень. Как воспитанник профессорского института, он имел право экзаменоваться прямо на доктора. Он, по-видимому, елико возможно, оттягивал эту неприятную процедуру: 22 октября Шевырев пишет Неверову: Печерину назначили экзамен, но он просил отсрочить⁴². Экзаменовали его (очевидно, только в ноябре) по-латыни из энциклопедии филологических наук, из греческих древностей, римских древностей, истории греческой литературы и истории римской литературы, и по-русски из археологии искусства. В декабре он просил разрешения представить диссертацию по предмету, которым, как мы видели, уже давно занимался: о греческой антологии (*Observationes criticae in universam Anthologiam Graecam*), а 31 декабря того же 1835 года был утвержден в звании исправляющего должность экстраординарного профессора для преподавания греческой словесности⁴³. Кафедру латинской словесности одновременно с ним занял Крюков. Докторской степени Печерин не получил; в его формулярном списке 1836 г. и позднейших университетских документах⁴⁴ он и сам называет себя, и официально именуется «испр. должн. э.-о. профессора кандидатом Печериным». Это показывает, что, выдержав экзамен на звание доктора, он диссертации так и не представил до самого отъезда из Москвы.

* Общее критическое обозрение греческой антологии (лат.).

В «Отчете» Московского университета за 1835 год сказано: «Исправляющий должность экстра-ординарного профессора В. Печерин (преподает греческую словесность и древности), Рязанской губ. из дворян, 28 лет, исполняет должность с 7-го авг. 1835 г.; жалованья 2000 руб.» (ассигн.). К чтению лекций Печерин приступил только в январе; он читал три часа в неделю студентам 2-го и 3-го курсов, именно — «объяснял происхождение и дух поэм Гомера и читал с комментариями «Одиссею» («Отчет» за 1836 г.). Жалованье в этом году показано 3500 руб. и 400 руб. квартирных денег.

Преподавание Печерина в Московском университете продолжалось всего один семестр (с января по июнь), но и за это короткое время и несмотря на пожиравшую его тоску, он оставил по себе добрую память. Буслаев, бывший сам в числе его слушателей, рассказывает в своих «Воспоминаниях» (это, между прочим, единственное описание *наружности* Печерина, какое мы имеем): «Профессор греческого языка (ни имени его, ни отчества не припомню) был совсем молодой человек, самый юный из всех прибывших вместе с ним товарищей, небольшого роста, быстрый и ловкий в движениях, очень красив собою, во всем был изящен и симпатичен, и в приветливом взгляде, и в мягком, задушевном голосе, когда, объясняя нам Гомера и Софокла, он мастерски переводил их стихи прекрасным литературным слогом. Но, к несчастью, мы пользовались его высокими дарованиями и сведениями очень не долго, менее года». Ю. Самарин, говоря о Погодине⁹⁵, замечает, что его лекции не отличались «художественной оконченностью и совершенной новизною лекций Печерина», а по словам самого Погодина Печерин до такой степени сумел заинтересовать студентов своим предметом, что все они принялись за греческий язык и в один год сделали необыкновенные успехи. То же подтверждают Д. Валуев и В. Григорьев. И.С. Аксаков⁹⁶, знавший Печерина по рассказам близких лиц, «по тем воспоминаниям, — добрым воспоминаниям, которые оставила в сослуживцах и учениках его профессорская деятельность», так характеризует его в московский период: «В короткое время своего профессорства он успел внушить и слушателям, и товарищам чувства самой живой симпатии. Строгий ученый, он соединял с замечательной эрудицией по части классической древней литературы живое поэтическое дарование и нежную, хотя постоянно тревожную душу, болезненно чутко отзывавшуюся на все общественные задачи своего времени, на всякую боль тогдашней русской действительность... Направление мыслей его было атеистическое, общее почти всем его товарищам»⁴⁵.

Печерин любил молодежь и любил свою науку; часы лекций были светлыми промежутками в ужасном кошмаре, который его душил. Назначение в Москву переполнило чашу. Как ни ослабели за эти два года его связи с彼得бургским кружком друзей, там все-таки можно было дышать. В Москве у него и этой поддержки не было, а те немногие берлинские друзья, которые вместе с ним попали сюда, как Редкин и Крюков, сами, по-видимому, были близки к отчаянию. С первых же дней они почувствовали здесь в профессорской среде, такую невыносимую затхлость, что у них потемнело в

глазах. Жалкое ученое крохоборство, тупость, мелочность, взаимная зависть, интриги из-за гонорара или благосклонности начальства, сътая пошлость и самодовольство, — вот обстановка, в которой они должны будут жить. Что было у них общего со всеми этими Терновскими, Герингами, Гастевыми⁹⁷ — их товарищами по университету, всецело погруженными в интересы семейного благополучия и чиновничьей карьеры, преподававшими так, что студенты больше забывали, чем узнавали, с Котельницким, приходившим в университет на лекцию с кульком провизии из Охотного ряда, с благочестивым Снегиревым, по сердечной склонности строчившим доносы (между прочим, и на Печерина), с тяжелым педантом Шевыревым или с грубым циником Погодиным, который в своем дубовом патриотизме огулом поносил западную жизнь и западную науку? Этот самый Погодин в своих воспоминаниях сообщает любопытный эпизод, показывающий, какие чувства наполняли Печерина и его товарищей. Провожая их от себя после чая за оврагом на Девичьем поле в 1836 году, он говорил им: «Те профессоры, которых вы теперь сменяете: Ивашковские⁹⁸ (предшественник Печерина по кафедре), Котельницкие и проч., были ведь смолоду так же ревностны, так же благоговели к науке, так же горели желанием распространять истину, а что сталоось с ними теперь в их несчастной среде? Увидим, что будет с вами»⁴⁶. Эта последняя мысль была слишком справедлива; мы увидим ниже, как она сверлила мозг Печерина.

Печерин не мог снести этой муки. Он, по-видимому, с самого начала решил бежать. По свидетельству Герцена, подтверждаемому приводимым дальше письмом, он свел свои расходы на самое необходимое, давал частные уроки, избегал людей: он копил деньги, чтобы уехать. За это время он напечатал в «Московском Наблюдателе» упомянутый выше отрывок о своем путешествии по Швейцарии, и статью «Археология» в только что начавшемся Энциклопедическом словаре Плюшара⁴⁷. Он отводил археологию важное место в ряду наук о человеке. Открывать в вещественных остатках древности следы древних идей — вот благородная цель, к которой она стремится. «Мы по какому-то невольному, непобедимому влечению углубляемся в эти темные времена отдаленной древности: эти исследования имеют для нас особенную прелесть — почему? Потому, что на каждом шагу мы встречаем то, что всего более нас занимает, — человека. И сие благородное стремление не есть тщеславное себялюбие, нет! это — похвальная гордость ума, который жадно ищет самого себя в остатках угасших поколений и везде, где только возможно их проявление; который хочет воссоздать свои собственные летописи и доказать, что он постоянно пребыл верен себе самому и божеству, наложившему на него печать своего величия». Эти слова о божественной печати на челе человека мы скоро встретим у Печерина в другом месте. Он освободился от всех верований — кроме веры в красоту и высокое призвание человека.

Ему очевидно было невтерпеж. Начав лекции в январе, он уже 19 февраля, то есть задолго до начала каникул, которые в то время считались с 10 июня, обращается в совет университета с следующим прошением: «Не-

предвиденные обстоятельства, требующие моего присутствия в Берлине для свидания с одним весьма близким ко мне семейством, равно как и намерение напечатать у книгопродавца Дюмлера мою диссертацию: *De Anthologia Graeca*⁴⁹, — заставляют меня просить покорнейше совет Императорского университета об исходатайствовании мне от начальства позволения ехать в Берлин, в отпуск, на время летних вакаций». По постановлению комитета министров и с царского согласия отпуск ему был разрешен, о чем университет и известил его 7 мая; но это значило сидеть в Москве еще целый месяц. И вот уже 11 мая ректор сообщает попечителю новое прошение Печерина: так как его занятия по занимаемой им должности должны прекратиться 14 мая, с окончанием экзамена, то он, Печерин, просит уволить его в отпуск с сего времени, почему ректор спрашивает, можно ли уволить Печерина ранее официального срока вакаций (то есть 10 июня), и если можно, то удержать ли у него следующее ему по 10 июня жалованье со дня дачи отпуска. О судьбе, постигшей это второе прошение Печерина, мы ничего не знаем, но по-видимому преждевременного отпуска он не получил; по крайней мере, в его формуллярном списке 1836 года значится, что он был уволен в отпуск с 10 июня⁵⁰, а Погодин определенно говорит: «Печерину случилось мне сказать последнее «прощай» в университетских воротах, в июне 1836 г., когда он, получив отпуск в правлении, выходил со двора на улицу».

X Бегство

В июле⁴⁹ Печерин уехал за границу, и — как значится в его формуллярном списке — более «к должности не явился».

Формально это было нарушением взятого на себя обязательства, потому что, принимая в 1833 году заграничную командировку, Печерин, в числе других командируемых (Порошин и Гених), подписал бумагу, составленную в следующих рабских выражениях: «Мы, нижеподписавшиеся, чувствуя в полной мере оказанное нам благодеяние правительством, доставившим средства на содержание себя в продолжение двух лет в Берлине для окончательного образования в тамошнем университете, — по истечении сего срока обязуемся немедленно возвратиться в Россию и прослужить не менее двенадцати лет по учебной части в высших учебных заведениях по распоряжению министерства народного просвещения». Действительно, против пропавшего без вести Печерина тотчас (в феврале 1837 г.) было возбуждено судебное преследование, прекращенное лишь в 1846 году за нерозыском обвиняемого⁵⁰. Лично для Печерина важнее была другая сторона

* Греческая антология (*лат.*).

дела: своим поступком он нанес тяжелый удар гр. С.Г. Строгонову^{99*}, который, будучи назначен в 1835 году попечителем московского округа, на первый план поставил обновление университета, лелеял молодых доцентов, по его же настоянию назначенных в Москву, и благородством своего характера, широтою взглядов, заботою об истинных нуждах просвещения заслужил их искреннюю симпатию. Отъезд Печерина должен был глубоко огорчить Строгонова не только потому, что в лице Печерина университет терял ценную научную силу, но и потому, что этот проступок мог тяжело отзываться на положении всего высшего образования в России, и во всяком случае — на системе отправления молодых ученых для усовершенствования за границу. Действительно, Калмыков рассказывает, что граф несканно скорбел о поступке Печерина, писал к нему, напоминал ему о долге и советовал вернуться в отчество⁵¹. В ответ на эти увещания Печерин 23 марта 1837 года из Брюсселя написал Строганову нижеследующее письмо⁵².

«Граф!

Письмо, коим вы меня почтили, дошло до меня лишь 21-го сего месяца, вероятно по оплошности почтмейстера в Лугано. Спешу на него отвечать.

Я глубоко тронут участием, которое вы во мне принимаете, вашими добрыми намерениями относительно меня, вашими великодушными предложениями... О, если бы я еще был достоин такой заботливости!.. Но, граф, я решился. Судьба моя определена безвозвратно — вернуться вспять я не могу.

Почти с моего детства надо мною тяготеет непостижимый рок. Повинуюсь необоримому влечению таинственной силы, толкающей меня к неизвестной цели, которая виднеется мне в будущности туманной, сомнительной, но прелестной, но сияющей блеском всех земных величий... Вот объяснение загадки.

Объясняюсь откровенно о сцеплении мелких обстоятельств, доведшем меня до настоящего моего положения.

Убаюкиваемый сладкими мечтами, я приближался, в 1835 году, к пределам моей родины. Я остановился в раздумья у ее границы, я поднял глаза и увидел над нею зловещую надпись:

*Voi ch'intrate, lasciate ogni speranza!**^{100*}

Вы призвали меня в Москву... Ах, граф! Сколько зла вы мне сделали, сами того не желая! Когда я увидел эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без Бога, живущих лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные; этих людей, на челе которых напрасно было бы искать отпечатка их Создателя; когда я увидел все это, я погиб! Я видел себя обреченным на то, чтобы провести с этими людьми всю мою жизнь; я говорил себе: Кто знает? Быть может, время, привычка приведут тебя к тому же результату; ты будешь вынужден

* Входящие, оставьте всякую надежду (*итал.*)

спуститься к уровню этих людей, которых ты теперь презираешь; ты будешь валяться в грязи их общества, и ты станешь, как они, благонамеренным старым профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякою мерзостью!

Тогда моим сердцем овладело глубокое отчаяние, неизлечимая тоска. Мысль о самоубийстве, как черное облако, носилась над моим умом... Оставалось только избрать средство. Я не знал, что лучше: застрелиться ли, или медленно погибнуть от разъедающего яда мысли...

Я погрузился в мое отчаянье, я замкнулся в одиночество моей души, я избрал себе подругу столь же мрачную, столь же суровую, как я сам... Этю подругою была ненависть! Да, я поклялся в ненависти вечной, не-примиримой ко всему меня окружавшему! Я лелеял это чувство, как любимую супругу. Я жил один с мою ненавистью, как живут с обожаемою женщиной. Ненависть — это был мой наущенный хлеб, это был божественный нектар, коим я ежеминутно упивался. Когда я выходил из моего одиночества, чтобы явиться в этом ненавистном мне свете, я всегда показывал ему лицо спокойное и веселое; я даже удостаивал его улыбки... Ах! я походил на того лакедемонского ребенка, который не изменялся в лице, в то время как когти зверя, скрытого под его одеянием, терзали его внутренности.

Я стал в прямой разрез с вещественною жизнью, меня окружавшею; я начинал вести жизнь аскетическую; я питался хлебом и оливками, а ночью у меня были видения.

Всякий вечер звезда, гораздо более блестящая, чем все прочие, останавливалась перед моим окном, насупротив моей кровати, и лучи ее ласкали мое лицо. Я вскоре догадался, что это та самая звезда, под которой я родился. Она была прекрасна, эта звезда! Ее блеск манил меня, призывал меня ей подчиниться.

В одну из этих торжественных ночей я услышал голос моего Бога, тот строгий, грозный голос, который потряс все струны моего сердца. Этот голос прокричал мне: «Что ты тут делаешь? Здесь нет будущности! Встань! Покинь страну твоих отцов! Возьми Мое святое знамя! Возьми Мой тяжкий крест, и неси его, если нужно, до Голгофы! Ты падешь, но имя твое будет записано в книге жизни между именами величайших мучеников человечества!» Я услышал этот голос и решился.

Между тем мои мнения окрепли; из подвижных и текучих они перешли в состояние окаменения. Они приняли форму жесткую, суровую, пуританскую. То уже не были отвлеченные начала, которые можно обсуждать хладнокровно с той и с другой стороны. То была живая вера, слепое, непоколебимое, фанатическое убеждение, то убеждение, которое посылает своих верных умирать на поле битвы, на костре, на плахе...

Вскоре весь мой катехизис свелся к этому простому выражению: *цель оправдывает средства*. Я сказал себе: *Bisogna esse volpe o leone!*¹⁰¹ Мне

* Нужно быть лисой или львом (*итал.*).

не позволяют быть львом; хорошо же, станем на время лисицею! Обманем своих тюремщиков! И проклятие тем, кто меня к тому принуждает!

Вот моя история... Относительно вас, граф, я поступил недостойно. Человек благородный и великодушный! Как я люблю и уважаю вас! Я готов отдать за вас жизнь — но... Вы лишь единичное лицо, и человечество имеет более прав, чем вы! Я отрекся от всяких чувств; у меня остались одни правила. Я служу неумолимому божеству. Я на его алтаре принес в жертву то, что человеку всего дороже, — отчество, родных, друзей! Я имел мужество отказаться от общественного положения, весьма выгодного и обставленного всеми прелестями вещественного довольства; я добровольно избрал жизнь лишений, жизнь бродячую, бесприютную, нередко грозящую голодною смертью...

Вы говорите мне, граф о долгे и чести! Разве не мой долг прежде всего повиноваться моим убеждениям? А моя честь? — Пусть ее марают, если хотят! Какое мне дело до моей чести, до моего доброго имени, только бы восторжествовало мое убеждение. Ношу в сердце моем глубокое предчувствие великих судеб. Верю в свою будущность, верю в нее твердо и слепо.

Юношеское ли это тщеславие? или безмерное честолюбие? Или безумие? — Не знаю. — Мой час еще не настал.

Провидение никогда не обманывает. Семена великих идей, бросаемые им в нашу душу, всегда суть верный залог прекрасной жатвы славы... Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь! О Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единственного дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни!

Извините граф, лихорадочную напряженность, беспорядочность, безумие этого письма, и прощайте навеки. Примите это письмо, как завещание умирающего, ибо я умираю для всего, что когда-то было мне дорого. Завещаю вам мою любовь к этим юношам, которых Небо поручило вашему попечению. Берегите эти прекрасные, нежные растения! Защищайте их от аквилона! Сохраняйте их для лучшего будущего! Да сохранит вас Бог, граф! Да поддержит вас, на вашем трудном пути, Его всемогущая десница. Да увенчает блестящий успех ваши великодушные усилия!

Забудьте, что я когда-либо существовал, и простите меня! Не довольно ли я поплатился за мой проступок, разорвав свой договор с жизнью и счастьем? Я извлек из своего измученного сердца несколько капель крови и подписал окончательный договор с дьяволом, а этот дьявол — мысль. Имею честь быть, с глубоким уважением и преданностью, которая кончится лишь с моей жизнью, ваш покорнейший слуга

Владимир Печерин»^{102*}.

В Москве ничего не шелохнулось. Печерин бежал из нее в июне 1836 года, а в один из дней этого же июня (23-го числа) богообязненный профессор Иван Михайлович Снегирев^{103*}, женатый на красивой женщине, бывшей до брака содержанкою богатого московского купца Перлова, обедал у тестя — «*a после обеда*», пишет он в своем дневнике⁵³, «*побеседовал долго*

с профессором С.И.Баршевым, женщиком своячины. Говорено, что ныне в С.-Петербурге вместо слова «право» употребляется закон, а вместо «гражданин» — член государства или подданный. Он (Баршев) с тестем толковал насчет приданого долг».

Но уже месяца за четыре до этого вышел в свет «Ревизор», а три месяца спустя появится 15-й номер Телескопа с «Философическим письмом» Чаадаева, и Гоголь после представления «Ревизора» сломя голову убежит за границу, а Чаадаева за его письмо высочайше объявили сумасшедшим¹⁰⁴.

XI

Мечта и действительность

Печерин оставил Россию в июле 1836 г. Отныне наши сведения о нем чрезвычайно скучны. В декабре этого года Чижов получил от него письмо из Лугано: не открывая своих намерений, Печерин заклинал прислать ему 500, в крайнем случае хоть 200 руб. Вспоминая его речи за последнее время, друзья догадывались, что он решил навсегда покинуть Россию; в ответ на его письмо четверо из них (Чижов, Гебгардт, Поленов и Никитенко) послали ему 400 руб., по сто с каждого, для возвращения в Россию⁵⁴. Как мы уже знаем, он не последовал зову друзей. 28 декабря он входит в Цюрихский правительственный совет с прошением о предоставлении ему права жительства, и 7 февраля 1837 г. Совет разрешает ему пребывание в Цюрихе на три месяца. Но в марте он уже в Брюсселе; отсюда он пишет приведенное сейчас письмо к графу Строгонову, и — очевидно, несколько дней спустя — категорически сообщает Чижову о своем решении не возвращаться, прибавляя, что не создан для того, чтобы учить греческому языку, что чувствует в себе призвание идти за своей звездой, а эта звезда ведет его в Париж⁵⁵. Однако он вскоре возвращается в Цюрих: 10 июня этого года цюрихский Совет продлил данное ему разрешение еще на полгода, а 16 декабря — опять на столько же⁵⁶. В августе 1839 г. Погодин напал на его след в Берне, где Печерин, по его словам, незадолго до того содержал какую-то библиотечку⁵⁷; Погодин искал его по всей Европе, думая склонить к возвращению. Все это время Печерин, вероятно, очень бедствовал. Средств у него не было никаких; уже в письме к Строгонову он писал, что обрек себя на бесприютную жизнь, нередко грозящую голодной смертью; о том же свидетельствуют такие факты, как заем у друзей и содержание библиотечки в Берне. Он перебивался, по-видимому, главным образом уроками, и притом нищенскими — за полфранка, как сообщает Чижов, а одно время, в 1838 или 1839 году, если верить слуху, который передает в своих воспоминаниях Буслаев, жил учителем или гувернером в какой-то русской или иностранной семье. В 1838 году в «Современнике» была напечатана без подписи его статья о греческой антологии, предназначавшаяся, по-видимому,

для Плюшаровского словаря и написанная, может быть, гораздо раньше⁵⁸. В этом году, на февральском празднике, петербургские друзья еще раз вспомнили о нем. До нас дошло стихотворение, читанное в этот день за обедом; под ним подпись *M.* — может быть (М.П.) Сорокин. Вот первые две строфы его:

В десятый раз, при шуме ликованья,
Приветствуя возлюбленных гостей!
Все собрались на братское призванье —
Отпраздновать наш светлый юбилей.
Как и досель, кипят заздравны чаши
И тучный дым от брашен восстает,
И радостью сверкают взоры ваши...
Но среди вас двоих недостает.

Один — певец, разгульный житель мира —
Далек от нас, мечту свою любя...
Зачем не здесь твоя святая лира?
Ты пел бы нам, мы б слышали тебя.
Здесь ждут тебя бряцающие чаши
И пира шум с весельем молодым...
Спеши ты к нам, лети в объятья наши,
Наш юный друг, наш милый пилигрим!

(Следующая строфа посвящена памяти знакомого нам Попова, кончившего самоубийством).

Что же делал в это время Печерин? Он бежал из России, конечно, не для того, чтобы проживать в Лугано и Брюсселе, давать уроки и наслаждаться жизнью. Письмо к Строгонову, написанное им вскоре после бегства, дышит экзальтированной решимостью: у него был план, он шел на какое-то определенное дело. Мы видели, как долго он колебался выйти на подвиг и как мучительно боролся с собою; наконец Москва заставила его решиться.

Тридцать лет спустя, обманутый кругом, но не ожесточенный, он тихо жил в Дублине при больнице, утешая страждущих, напутствуя умирающих и наполняя свой досуг изучением восточных языков. Тогда снова вернулась к нему муз, подруга его юношеских лет. В немногих стихотворениях, написанных им тогда, он говорит все только о себе, да о той «незримой красоте», служению которой он отдал свою жизнь. И вот, в этих стихотворениях он сам поведал, какие замыслы одушевляли его в то время, когда он решал навсегда расстаться с Россией. Он рассказывает:

Чудная звезда светила
Мне сквозь утренний туман;
Смело я поднял ветрило
И пустился в океан.
Солнце в море погружалось,
Вслед за солнцем я летел:

Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.

«Запад! запад величавый!
Запад золотом горит!
Там венки виются славы!
Доблесть, правда там блестит!

Мрак и свет, как исполины.
Там ведут кровавый бой:
Дремлют и твои судьбы
В этой битве роковой.

В броне веры, воин смелый,
Адамантовым щитом
Отразишь ты вражьи стрелы,
Слова поразишь мечом.

Вот блестит хоругвь свободы —
И князья бегут, бегут;
И при звуке труб народы
Песнь победную поют.

Пали древние оковы!
Кончилась навек война!
Узами любви Христовой
Заковались племена!

Ныне правдой озарится
Наш Ерусалим святой,
Вечным браком съединится
Небо с новою землей.

Духов тьмы исчезнет сила
И взойдет на небеса
Трисиянное светило —
Доблесть, истина, краса!»

Такова была его мечта; другое стихотворение говорит о том, как он смотрел на самого себя («Ирония судьбы», Miltownpark, 29 сентября 1868 г.). Он говорит здесь о том, что мечты его гордой юности расплылись, как дым. Может быть родина чего-то ждала от него: ведь над его головой сияла утренняя звезда; но черная туча затмила его день.

Чья ж вина? Вина ль России?
Кто же станет мать винить!
Не хотел я гордой выи
Перед матерью склонить!

Нет! среди праздного покоя
Я не мог евнухом жить:
Мне хотелось под грозою
Новый след себе пробить.

Вот он, рыцарь благородный!
Несравненный Дон Кихот!
Он поэт! он вождь народный!
Он отечество спасет!

Все венцы ему готовы
И науки, и любви.
О, гряди ж! и жизнью новой
Ветхий мир наш обнови
Мефистофель громким смехом
Оглашает свод небес:
«Рыцарь! верь своим доспехам!
Время настает чудес!
Видишь? исполнин ужасный!
От него избавь ты свет!
Зазвучит из уст прекрасных
Сладостный тебе привет.
Узников разбей оковы,
Правду всюду воцари.
Твердою рукой основы
Новых царствий положи!
Ветхая система мира
Уж от дряхлости падет;
Вспрянь, поэт, и твоя лира
Новый мир для нас найдет!»

Это не обман воспоминания; мы видели — это самое он писал Строгонову через несколько месяцев после отъезда за границу: им владеет непоколебимое убеждение и он носит в сердце глубокое предчувствие своей великой судьбы; настало время чудес, и чудо свершится чрез него, — тому залог семена великих идей, брошенные Пророчеством в его душу.

Мечта Печерина — это была мечта об осуществлении потенциальной красоты человека, о водворении на земле царства разума, справедливости, радости и красоты, — та самая мечта о «гармонии», которая во все времена жила в сердцах художников и учителей человечества, то неутолимое «желание лучшего мира», о котором, вслед за Шиллером, Печерин пел уже в юношеские годы. Мы видели, что из этой всеобъемлющей идеи в уме Печерина рано выделилась и стала на первое место более узкая мечта об освобождении человечества *от деспотизма*; но она никогда не застилала ему того юношеского идеала. Выходя на подвиг, он хотел не только разбить оковы узников, но и воцарить всюду правду, и еще много лет спустя он упорно свидетельствовал: «за небесные мечтания я земную жизнь отдал».

С такими-то мыслями и стремлениями явился он в Западную Европу. Мы, *post factum*, заранее видим, что он был вдвойне обречен року за свое двойное безумие — за веру в то, что чудо близко, и что оно свершится именно чрез него. Может быть, он и сам в глубине души предвидел это, и все-таки он пошел туда, куда посыпал его «грозный голос его Бога», пошел с полным сознанием, отрекшись от всего, за что так цепко держатся люди.

Он кажется нам безумцем со своими двумя верами, но в эту эпоху на Западе было много таких, как он.

Это было удивительное время. Рационалистическая философия XVIII века разрушила все старые верования и объявила нелепостью всякое мета-

физическое иска^{ние}; но потребность обобщающего принципа не могла быть истреблена в людях, и когда рассеялся угар великой революции, мыслящая часть общества увидела себя в пустыне без вожатая. Глубокая меланхолия овладела первыми поколениями XIX века; они задыхались в атмосфере материалистических абстракций, лишенных объединяющего начала и отрицавших права сердца; «что делать и что любить среди непостоянства принципов» — этот вопрос терзал лучшие умы. И вот постепенно обнаруживается глубокая реакция против философии просвещения — против критики в пользу доктрины, против сенсуализма в пользу идеализма; приблизительно с 1820 года европейским обществом овладевает страстная жажда цельного идеалистического мировоззрения. А с этим течением, взаимно оплодотворя друг друга, слилось другое: естественный ход социально-экономического развития ставит на очередь социальный вопрос. Эти два течения и определили характер эпохи: она стала эпохой веры и утопий. Что для нас особенно важно отметить, это — ее глубоко идеалистическое направление. То была заря европейского социализма, и здесь, в своей первой стадии, он выступал в неразрывной связи с высшими проблемами человеческого духа, — черта, уже совершенно чуждая научно-практическому социализму Прудона, Лассала и Маркса. Таков был дух времени; вспомним, что в эту эпоху даже чисто политические движения выступали под религиозным знаменем, — вспомним Маццини^{105*} и «молодую Италию» с их лозунгом: «Бог и народ».

История не знает другого периода, когда в столь короткий промежуток времени было бы создано такое большое количество столь универсальных и столь догматических учений, и когда бы эти учения воспринимались с большим энтузиазмом и более слепой верой. Оуэном в Англии и Сен-Симоном во Франции начинается длинный ряд великих и малых идеологов, из которых каждый выступал с законченной системой, содержащей категорические ответы на все жгущие вопросы — от религиозных до экономических, и все они имели задачей исцелить язвы человечества, все были твердо уверены, что наступил час, когда рай должен водвориться на земле. И так сильны были в обществе потребность веры и чувство уродливости социального строя, что, как бы наивна ни была утопия, она находила фанатических сторонников, энтузиазм которых нам часто кажется диким и непонятным, как бред умалишенного.

Печерин попал за границу в самый разгар этой идейной оргии. Несколько хронологических указаний могут дать представление о характере пятилетия 1836—1839 гг. В 1832 году распалась сен-симоновская школа; на смену ей явился фурьеизм; в 1836 году его апостол, Консiderан, издал свою «Destinée sociale»^{106*}, и в этом же году начала выходить «La Phalange»^{107*}; в 1838 году вышел «Essai sur l'Egalité» Пьера Леру^{108*}, в 1840 году выйдет книга Кабэ^{109*}, уже давно проповедовавшего свои «икарийские» идеи. В это же самое время энергично возобновляют свою деятельность коммунисты, широкой пропагандой возбуждающие восстание 1839 года, и в лице Луи Блан^{110*} впервые формулирует свои требования социализм,

вскоре находящий себе более мощного глашатая в Прудоне (*Qu'est-ce que la Propriété* — 1840 г.)¹¹¹. Всюду — и не в одной только Франции — сотни явных и тайных обществ готовились приступить к немедленному осуществлению каждого своего евангелия; Франция была охвачена глубоким брожением; с 1831 до 1839 года революционные попытки следуют в ней одна за другою. Бесчисленные журналы, брошюры, летучие листки с пламенным энтузиазмом пропагандировали идеи социального обновления, и тысячи, может быть десятки тысяч людей, в экстазе протягивали руки на встречу восходящему солнцу всемирного равенства, свободы, благоденствия. И все эти реформаторы и их последователи были твердо убеждены в своей трезвости, в совершенной практичности и осуществимости своих утопий: Фурье до самой смерти (1837 г.) ежедневно в полдень ждал в своей квартире миллионера, который должен был дать ему средства для осуществления его системы; Кабэ едет в Иллинойс устраивать икарийскую республику, фурьеристы создают фаланстер в Техасе и т.п.

На этом фоне Печерин перестает казаться безумцем, каким он непременно должен был представляться своим русским знакомым — Погодину или Никитенко. Здесь таких, как он, было много, — веривших, что настало время чудес.

На первых порах это должно было окрылить его. В этой атмосфере, насыщенной утопическими идеями, его вера в близкое обновление жизни должна была превратиться в уверенность. То, о чем он только мечтал, здесь на всех перекрестках провозглашалось умнейшими, талантливейшими, лучшими людьми, как исторический закон, как неизбежная, безусловно осуществимая формула, и он воочию мог видеть, как люди переходят от мечтаний к делу, в подробностях обсуждают план новой веси и то там, то сям, под руководством все обдумавших зодчих, уже приступают к ее созиданию.

Естественно, что он должен был примкнуть к одной из групп, занятых этим делом, ибо как иначе мог он надеяться увидеть исполненной свою мечту о лучшем мире — он, бедный, одинокий и неизвестный? Мы видели, «его звезда вела его в Париж», в главную лабораторию утопических планов и предприятий, а И.С. Аксаков прямо говорит, что по отъезде за границу Печерин вначале «увлекся крайними теориями европейских революционеров»⁵⁹; но мы должны были бы с уверенностью предположить это и без прямых свидетельств.

К какой группе (или, что вероятнее, к каким группам попеременно) примкнул Печерин, какую роль играл он здесь и какие горькие уроки вынес из этого опыта, — нам ничего неизвестно. Но наиболее существенные итоги нетрудно вывести a priori. Это — прежде всего — разочарование в скользкой осуществимости идеала и сознание, что осуществить его теми средствами, с каким прибегали утописты, невозможно: громада оказывалась слишком косной, чтобы можно было передвинуть ее «к высшей цели бытия» пламенными воззваниями, устройством фаланстера или даже революцией. Сюда присоединялось еще, без сомнения, разочарование в самих

учителях и апостолах обновления, в тех людях, с которыми он думал заодно потрудиться во славу своего Бога; их слабость, суетность, склонность к патетической фразе и местничеству должны были глубоко оскорбить его, — недаром он под старость так презирал французский характер. Этого мало: обманута была еще другая мечта Печерина, и эта рана жгла, может быть, всего больнее. Он явился на Запад с непоколебимой верой в свое исключительное призвание: это *он* должен был указать народам путь к всемирному счастью, и его ждала бессмертная слава. Прошел год, другой, третий — чего же он достиг? Он не только не обновил мира, и тем терял права на бессмертие, но он видел вокруг себя немалое число людей, в такой же мере, как он, считавших себя исключительно избранными на дело обновления жизни, так что оказывалось, что одни не желают признать его пророком потому, что равнодушны ко всяkim вообще великим идеям, другие потому, что сами, подобно ему, «чувствуют в себе семена великих идей», признают себя пророками.

Положительный Чижов, видевшийся с Печериным несколько лет спустя, так, с его слов, но в собственном ироническом освещении, изображал постигшие его разочарования⁶⁰: «Обстоятельства и самолюбие воспитали в нем страсть к деятельности. За нею он бросался всюду, и, не справляясь с своими силами, поднимая на плечи тяжести, налагаемые не убеждением, а беспредельно высоким понятием о себе и низким о людях, он падал под ними на каждом шагу. Разумеется, по общему порядку вещей, везде виноваты были люди: одни за то, что при его появлении не подняли знамя свободы и не провозгласили его диктатором, другие за то, что при первом его слове не сделали его представителем европейской учености и не разослали объявления по всеми миру, как о Пике Мирандольском¹¹², а преспокойно заставили учить за 1/2 франка, и то снисходя к его бедности. Сквернавцы люди ценят только то, что приносит им существенную, нравственную или физическую пользу, и не верят на слово».

Мы, верно, уже никогда не узнаем, что скрывалось за этими скромными намеками, сколько метаний от одного радикального кружка к другому, сколько отчаянных усилий, ужасных разочарований, ночей бессонных и нескончаемых, когда голова пылала, а сердце медленно пило горечь смерти, сколько голодных, бесприютных дней и одиночества. Эта жизнь продолжалась *четыре года*. Печерин давно уже порвал все связи с родиной — не писал ни друзьям, ни родителям, и сам не получал от них писем.

И вдруг в Москве и Петербурге распространился чудовищный слух: Печерин принял католичество и сделался иезуитом! Все, знавшие его лично или понаслышке, были нескажанно поражены⁶¹. Как, прожив до 33-х лет в полном равнодушии к религии, человек с европейским образованием, богато одаренный для науки и поэзии, с юности проникнутый страстной ненавистью ко всякому деспотизму, — как мог он, во-первых, вдруг предаться церкви и, во-вторых, добровольно наложить на себя ярмо монашества — католического монашества!

Слух был верен: в середине 1840 года, то есть через четыре года после выезда из России, Печерин принял католичество и вступил в орден редемптористов^{113*}.

XII

Обращение

Много лет спустя, в 1863 г., Катков^{114*} в «Московских Ведомостях» к слову рассказал историю обращения Печерина. По его словам, Печерин уверовал под влиянием одного случая, который глубоко его потряс. Будучи человеком безусловно неверующим, он однажды в Брюсселе вошел в католическую церковь, чтобы посмеяться и покощунствовать, и затеял богословский спор с монахом-редемптористом; но монах разбил его доводы, поразил его непоколебимой твердостью своего убеждения и сумел пробудить в молодом вольнодумце религиозное чувство; результатом был переход Печерина в католичество и вступление его в орден редемптористов.

Когда этот рассказ дошел до сведения Печерина, он отозвался на него такими строками: «Странные у людей понятия о так называемых *обращениях* в католическую веру! Восприимчивость пылкой юности — проповедь — католический священник: все это вздор! Оно вовсе не так было!.. Никакой католический священник не сказал мне ни слова и не имел на меня ни малейшего влияния! Мое обращение началось очень рано: от первых лучей разума, на родной почве, на Руси, в глупши, в русской армии. Зрелище неправосудия и ужасной бессовестности во всех отраслях русского быта — вот первая проповедь, которая сильно на меня подействовала! Тоска по границе охватила мою душу с самого детства. На запад! на запад! кричал мне таинственный голос, и на запад я пошел, во что бы то ни стало! Католическая вера явилась гораздо позже: она была лишь *un corollaire**^{115*}, необходимое заключение долгого логического процесса, или, лучше сказать, она была для меня последним убежищем после всеобщего крушения европейских надежд в 1848 году»⁶².

Не он один нашел здесь убежище в ту пору. Тридцатые годы были эпохой блестящего возрождения католической церкви на Западе — внешнего и внутреннего. Этому возрождению способствовали разнообразные причины, но главной было то всеобщее настроение умов, о котором я говорил выше. Люди алкали веры, притом такой, которая обещала бы обновление жизни: разве не таково учение Христа? И вот, та самая волна, которая выбросила на поверхность такое большое количество социальных утопий, подняла на небывалую высоту и старый католицизм. А вместе с тем и самый католицизм обновился в духе времени. Он перешагнул пропасть, от-

* Королларий, необходимое следствие (*франц.*).

делявшую его от образованного общества: он заявлял теперь страстный интерес к наиболее жизненным вопросам, какие волновали это общество, протягивал руку науке, требовал свободы совести, слова, ассоциаций и преподавания, наконец в лице Ламеннэ^{116*} он освящал социализм, — и о чем бы он ни говорил, его язык был светский и просвещенный, чуждый схоластики и обскурантизма. С другой стороны, он заявлял притязание уже не только на руководство одной специальной областью личного и общественного быта: он властно требовал подчинения себе всей общественной жизни с ее жгучими вопросами и противоречиями, потому что только он из своего незыблемого, божественного принципа в состоянии решить эти вопросы и тем спасти общество от конечной гибели. Именно это всеобъемлющее притязание, опиравшееся на авторитет Христа и на тысячелетнее славное прошлое католицизма, составляло главную силу католической пропаганды; именно оно привело тогда в церковь столько искренних и образованных людей и собирало сливки парижского общества в две и три тысячи человек на проповеди Лакордера¹¹⁷, Равиньона и Дюпанлу. Этот самый Лакордер, ставший одним из столпов правоверного католицизма, в молодости был адвокатом и держался тогда вполне рационалистических идей; позднее он сам свидетельствовал, что был приведен к вере своими общественными убеждениями: он сознал, что только христианская религия может привести общество к совершенству. Так образовался мост, который соединил католицизм с социальными утопиями эпохи и по которому прошли в церковь Бюшэ^{118*} и столько других провозвестников социального обновления. Церковь у выхода встречала каждого отчаявшегося мечтателя и говорила ему: твоя мечта о лучшем мире — мое дело; ты убедился, что человеческими средствами ее осуществить невозможно, я же обладаю небесным оружием: войди и попробуй! И они входили толпами, так что, например, о сен-симонизме Свечина справедливо могла сказать, что он стал как бы резервуаром, откуда Господь берет своих избранников. Бывшему утописту, после его печального опыта в тайных революционных кружках и после наблюдений над общественным бытом, церковь казалась единственной в мире могучей организацией духовных сил против стольких организованных твердынь материальной силы; и такою естественно должна была казаться в особенности католическая церковь с ее властной требовательностью в отношении светской жизни и с безусловной законченностью ее догмы.

Но это был не единственный соблазн; очень большую роль играли в этих обращениях и личные, эмоциональные переживания. Многое понятно здесь само собою. Понятно, какое безысходное отчаяние овладевало энтузиастом, когда он наконец убеждался в неисполнимости великих мечтаний, и как тогда, с упадком возбуждения, вдруг сказывались страшная усталость, отвращение к собственному, еще неостывшему прошлому, отвращение к людям. Мало того, начинался мучительный разбор самого себя. Я сам — был ли я достоин? Я старался воздвигнуть храм не столько

ради моего Бога, сколько ради славы моего имени; не поделом ли я наказан за гордыню, за преступную уверенность в своих силах?

Можно было бы привести из истории тех лет немало примеров обращения, аналогичных обращению Печерина. Тот же путь прошел, например, знаменитый Богдан Яньский, основатель духовного ордена ресурреционалистов¹¹⁹. На два года старше Печерина, питомец варшавского университета, он в 1827 году, подобно Печерину, был послан за границу для приготовления к университетской кафедре. В Париже он познакомился с сен-симонизмом, отдался ему со страстью и быстро занял видное место в сен-симонистской иерархии, так что в 1830 году был отправлен с важным поручением в Англию — для переговоров с Р. Оуэном. Он был в это время человеком безусловно неверующим. Так же, как Печерин, он решил покинуть с прошлым,пренебречь всеми соблазнами жизни и отдаваться делу обновления человечества: «хочу жить в святынице великого Бога, и в него, в этот всеобъемлющий храм, я должен призвать все человечество». Так же, как Печерин, он порвал с родиной, терпел крайнюю нужду, живя уроками языков. Постепенно он начал понимать, что все средства, основанные на разуме, бессильны обновить мир; и наконец, мучимый сознанием собственной греховности, в 1835 году предался церкви, чтобы сперва в себе самом искоренить дух гордыни и телесности и к тому же всеми силами склонять людей. Ту же эволюцию проделали его ближайший потом сотрудник по католической пропаганде среди польской эмиграции, Петр Семененко¹²⁰, и другой поляк, Иосиф Губе, бывший профессор римского права в варшавском университете, и еще многие, многие.

Среди писем Печерина, сохранившихся в семье его родственников, гг. Телесницких, нашелся листок бумаги, исписанный с одной стороны, — несомненно, отрывок из письма Ф.Ф. Печерина¹²¹, двоюродного брата нашего Печерина. Здесь вкратце — конечно, со слов самого Печерина — рассказана история его обращения; Федор Федорович ездил видеться с ним в 1844 году, и тогда же вероятно сообщил родным эти подробности. Предыдущая страница утрачена. Вот эти драгоценные строки.

...«было тогда сборище польских выходцев. К довершению несчастия, у брата на одном ночлеге украли деньги; он остался без гроша и вынужден был питаться мирским подаянием и часто проводить целый день без пищи и ночевать в поле или при большой дороге, под деревом. Тут судьба послала ему одного доброго спутника, который помог ему немногими деньгами и пошел с ним до первого бельгийского города; остановившись в гостинице позавтракать, брат познакомился тут с одним монахом, который шел в тот же город, где брат надеялся получить место; они отправились вместе; рассказ монаха об их спокойной и счастливой жизни пленил воображение брата; сравнивая эту жизнь с своим страдальческим положением, не имея ни средств, ни возможности достигнуть родины, он решился вступить в монастырь и объявил об этом монаху; тот был этим очень обрадован, однако же советовал брату подумать, достанет ли у него сил и духа покинуть мир, родину и родных. В крайнем своем положении брат решился на все, и в том

же городе, где думал иметь и, может быть, имел бы место профессора, явился к окружному патеру и был принят в Люттихский монастырь^{122*} сначала бельцем, а через год принял пострижение».

Кажется, сама великая жизнь — «mater magna gemitus»* — плачет над своим несчастным сыном. Печерин — весь пыл, поэзия, изящество — Печерин, мечтавший стать во главе народов, чтобы, как Моисей, вести их в обетованную страну, — протягивает руку за подаянием, ночует в поле, скитаются без приюта, может быть скрываясь от полицейских ищек! Это ли не предел, за которым больше нет дороги? А позади были четыре долгих года эмигрантской жизни, бесплодного кипения, бесчисленных попыток и неудач. Больше не было сил не только бороться — даже просто жить. В эту минуту смертельной усталости от него отошли все призраки, которые до сих пор застилали ему истину, — гордость ума и знания, надежда на людей; беспомощен, как ребенок, ослабевший от шалостей и слез, его потянуло прильнуть к груди матери и отаться без воли ее теплому могуществу. Мы видели: в нем с юности жила потребность тишины и созерцания; теперь она проснулась и безраздельно овладела им.

И тут, по естественной последовательности чувств, он вдруг снова вспомнил о своей матери по плоти, вспомнил со страстной тоскою и болью. Он давно ничего не знал о ней. Жива ли она? и как она переносила все эти годы неизвестность о нем? Ведь он был единственный сын.

Его родители жили в это время уже оседло в Одессе. Отец был еще на действительной службе. Один из родственников, посетивший их в 1837 году, так изображал их в письмах к В.Ф. Трегубовой, уже знакомой нам кузине Печерина: «Наконец я был у Сергея Пантелеевича, застал его дома и познакомился с вашею тетушкою, нежинское происхождение которой, несмотря на дальние походы по всем концам России, очень заметно, вместе с природною кротостью и добротою ее». В этом году Сергей Пантелеевич на высочайшем смотре был произведен в полковники, и тот же корреспондент пишет недолго спустя: «Сделайте одолжение, поспешите поздравить дядюшку вашего с производством в полковники. Он этого ожидает с величайшим нетерпением и поздравление это, может быть, для него приятнее будет, чем самое производство. А что верно, так это то, что если вы и Федор Федорович не поздравите его, и не поздравите как можно скорее, то повышение свое он не почтет повышением»; и две недели позднее: «Лишь только добрый ваш дядюшка, которого я душевно люблю, как доброго и честного человека, получил письмо ваше, то немедленно, как я и ожидал, приехал ко мне объявить о том и в разговорах, знаете, так, между прочим, сказать, что вы и Федор Федорович его поздравляете с производством».

В том отрывке из письма Ф.Ф.Печерина, где рассказана история обращения нашего Печерина, есть, по-видимому, неточность. Печерин, надо думать, не сразу вступил в монастырь; едва ли даже он принял католичество *тотчас* после произшедшего в нем перелома. Уже вполне решившись,

* Великая мать [всех] венцей (лат.).

но еще не сделав последнего шага, он возвращается в Париж, и отсюда в первый раз после долгого времени пишет письмо Чижову. Это, как и следующее за ним письмо, писаны по-французски.

«Париж, 10 мая 1840 г.

Дорогой Чижов! Я только что написал письмо к моему двоюродному брату. Теперь пишу вам о том же деле.

Я прошу у вас дружеской услуги, в которой вы наверное не откажете мне. Умоляю и заклинаю вас Богом дать мне весть о моих родителях, а главное — сообщить мне о здоровье моей матери, моей бедной матери, которую я так жестоко пожертвовал ради моих безрассудных мечтаний. Ответьте мне как можно скорее; ваш ответ будет иметь большое влияние на мои дальнейшие решения. Адрес, который я посылаю вам, совершенно надежен.

Это письмо докажет вам, что я еще жив и чувствую себя довольно хорошо. Мое материальное положение изрядно: я живу уроками. Мои чувства к вам не изменились и никогда не изменятся. Выпив до дна чашу горчайших разочарований и увидев пустоту и ничтожество всего, что раньше казалось мне великим и прекрасным, я образумился, и теперь моя душа жаждет покоя и уединения, — уединения ненарушимого и покоя вечного... «Иным обманутым существованиям, — говорит Бальзак, — нужно небо или ад, разврат или уединение на вершине Гран-Бернара»... Разврат не подходит ни к моему темпераменту, ни к моим принципам. Итак, что же мне остается?

Я уже стою на краю этой пучины поэзии и религии, куда раньше бросались все пылкие и обманутые души, которых мир не мог удовлетворить... Я с любопытством заглядываю в нее; оттуда веет на меня прохладою, таинственным ароматом, который меня опьяняет и вызывает в моих членах дрожь целомудренного сладострастия... Верьте мне, друг: только Бог и его бесконечная любовь может наполнить пустоту души, которая обманулась в самых дорогих своих стремлениях и которая, убедившись в бесплодности всех своих жертв, раздирается нестерпимым раскаянием... Да будет и вам дано понять когда-нибудь, как понял я эту великую истину, и оценить мир и его утехи по достоинству, то есть как пустоту и ничтожество!

Но прежде, чем кинуться вниз головою в эту бездонную пропасть, которая меня влечет и манит неотразимым очарованием, я хочу еще бросить взгляд на узы, которые должны были привязывать меня к этому миру и которые я порвал, как капризный ребенок ломает игрушку. Я хочу в последний раз проститься с этими любимыми узами, прежде чем за мною бесповоротно закроется дверь вечного уединения.

Обдумайте это письмо и взвесьте в вашем уме и вашем сердце мысли, высказанные мною. Ваш ответ мне крайне нужен. Постарайтесь написать мне тотчас».

Чижов ответил Печерину, но, вероятно, ничего не мог сообщить его о его родителях. 26 июня Печерин опять написал ему:

«Снова слышу — голос милый
Песнь знакомую поет,
И, как Лазарь из могилы,
Тень минувшего встает.

Вот чувство, которое вызвало во мне твое дорогое письмо. Извини, что снова пишу тебе по-французски: я слишком привык к этому.

Ты постарел, мой добрый друг! даже почерк твой изменился: он стал спокойнее, правильнее. Но сердце осталось молодо: одно сердце нетленно.

Ты пишешь, что тон моего письма показался тебе странным. Мой друг, разве ты не знаешь, что в эти четыре года я прошел несравненно более основательную выучку, нежели какую можно получить в университетах, и под ферулой учителя несравненно более непреклонного и сурового, нежели ваши изящные профессора? И ты сам — разве не убедился в ничтожестве света, его отравленных наслаждений, его легкомысленных влюбленностей, его жалких лавров политических и литературных? Разве ты не разочаровался в науке? Разве она не осудила себя сама, обнаружив свою полную неспособность дать нам счастье и душевный мир? Верь мне, друг: в звуках органа, сопровождаемых церковным песнопением, в дыме ладана, поднимающемся к небу сквозь солнечный луч, в любой иконе Богоматери — больше истины, больше философии и поэзии, чем во всем этом хламе политических, философских и литературных систем, которые меняются теперь ежедневно, как картинки мод, и которые все неизменно в конце концов становятся смешными. История последних десяти лет дала нам важные и благотворные уроки. Люди и системы — все рушилось; самые громкие предприятия позорно обанкротились, и со всех четырех концов мира, мне кажется, слышен торжественный голос, который нам говорит: «Человек — ничто, только Бог велик!» И со всех концов земного шара несутся стоны, громко требующие сокровища, отнятого у людей, бесценного сокровища религии, которое обманщики, наряженные в тогу философов, пытались тайком похитить у страждущего человечества. Мы стоим на пороге великого поворота в общественном мнении. Его приближение чувствуется в самых легкомысленных произведениях литературы. Век становится серьезнее, вольтерианские шутки уже не имеют доступа в хорошее общество: они предоставлены старым провинциальным господам кабакам и гауптвахтам.

Да, близится час, когда церковь встанет победно над обломками мнимо-философских систем: мирские волны бессильно разобьются о камень Петра. Но ты еще не понимаешь, к чему клонится моя речь. Я не хочу говорить о моих дальнейших намерениях, пока не получу письма от двоюродного брата.

Ты болен, мой бедный друг. По свойственному мне эгоизму я не мог подавить в себе радости, узнав о твоем предстоящем приезде в Италию, потому что... не удастся ли мне увидеть тебя, обнять тебя еще раз, прежде чем за мною навсегда закроется дверь вечного уединения? Как многое я хотел бы тебе сказать, о чем писать невозможно! Проездом в Италию постарайся

заехать в Бельгию и приезжай в Люттих; там начинается железная дорога, и там же я хотел бы устроить наше свидание, по причинам... по причинам... которые ты узнаешь позже.

Ты ничего не писал мне о том, что мне было всего нужнее знать. О, моя мать, моя мать! Это преступление можно искупить только ценой всей жизни... Напиши мне как можно скорее и сообщи время твоего отъезда. Для скорейшего обмена писем между нами, предпочитаю дать тебе следующий адрес: г-ну профессору Фурдрэну старшему, Pont des Jésuites, № 68, Льеж, Бельгия, для передачи вдове Zoiris».

Очевидно, получив ответ от двоюродного брата, Печерин наконец исполнил свое решение. 13 сентября 1840 года, вероятно тотчас после крещения по католическому обряду, он написал родителям. Письмо помечено: «Сен-Трон» — обитель редемптористов в Бельгии. Оно написано по-русски.

«Дражайшие родители!

Судьбы Всевышнего неисповедимы. Чрез тысячи заблуждений и тысячи бедствий десница Его благая привела меня к познанию единой истинной Католической веры, которую я ныне исповедую и буду исповедывать до конца моей жизни. Горняя благодать осенила меня и внушила мне твердое намерение отречься навсегда от мира и в иноческой келье загладить слезами покаяния все мои заблуждения. Когда вы получите это письмо, черная ряса покроет меня и я буду уже послушником в монастыре Испукителя, в Сен-Трон, в Бельгии.

Приимите сие известие с твердостью духа, приличною христианину. Скажите с многострадальным Иовом: «Аще благая прияхом, злых ли не потерпим? Господь даде, Господь и отъя. Да будет воля Господня!»¹²³* Не ропщите на Пророкование. Перст Божий виден на всем, что со мною случилось. Кто знает, к чему Бог назначает меня? Да совершится воля Его святая! Смиряся перед глаголом Всевышнего и отвращая взоры наши от минутной жизни сей и от слезной юдоли мира сего, вознесем очи и сердца наши к небу, истинному отечеству нашему, «идеже несть ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»¹²⁴.

День и ночь пред алтарем Всевышнего я буду воссылать теплые молитвы за вас, дражайшие родители. Соедините ваши молитвы с моими в духе милосердия и христианской любви, забудьте мои проступки и простите мне великодушно все печали, которые я вам причинил. Я принес себя на жертву Господу: Господь услышит глас покаяния моего. Я поднял тяжелый крест на плечи мои и буду носить его до конца моей жизни: пусть этот крест загладит все грехи мои!

Дражайшая маменька! за вас стонет сердце мое. Молитесь Пресвятой Богородице-Деве! Она также была матерью; она также испытала все горести матерней любви и меч обоюдоострый пронзил сердце ее, когда она узрела сына своего на кресте распятого... Она знала наперед, что все сие должно случиться; и однако ж она отвечала Ангелу: «се раба Господня, да бу-

дет мне по глаголу твоему»¹²⁵. Не мне вас утешать, нет! утешения человеческие бессильны. Иисус Христос и Пречистая мать Его и Ангел хранитель ваш да осенят вас крылами своими и да прольют на сердце ваше бальзам небесного утешения. Жизнь — минута, и эта минута исполнена горечи. Безумен, кто ищет радости на земле! Для христианина единая радость — умерщвлять плоть свою, смиряться духом, с покорностью нести крест, возлагаемый на него Провидением, и ожидать ежечасно пришествия жениха, дабы сподобиться услышать из уст Судии: «Благий раб и верный! в мале был еси мне верен; над многими я поставил»¹²⁶. О, радость неизреченная! мы узрим лицем к лицу Христа Спасителя нашего и воспоеем ему песнь новую с лицом ангелов и херувимов. Там мы забудем все, что в сей жизни нас разлучало; там мы обнимемся в единой вере и единой любви!

Не откажите ваше благословение мне, недостойному сыну вашему, дражайшие родители. Повергаюсь к стопам вашим и с сокрушенным сердцем пребываю вашим покорнейшим сыном. Владимир Печерин».

Он *верил* — это не подлежит сомнению. Как совершился в нем этот переворот, мы понять не можем. Искреннее обращение неверующего к вере — всегда чудо, и, как чудо, непостижимо, равно для самого обращенного и для зрителей.

Но если главную роль в его обращении играли, бесспорно, мотивы личные, внутренние, то несомненно и то, что рядом с ним действовали и соображения принципиального свойства, связанные с великой мечтою его жизни, как мы это видим и у Б.Яньского, Семененко и других бывших утопистов. Он возложил на себя тяжелый крест католического монашества с двоякой целью: чтобы тяжестью этого креста искупить свои грехи и чтобы крестом поражать духов тьмы. Если бы он думал только об искуплении, он вступил бы в созерцательный орден; он же стал в рады *активного* воинства Христова, — сделался монахом ордена проповедников.

XIII

В монастыре

Печерин принял католичество, вероятно, 10 сентября в Saint-Trond (отсюда 13 сентября он написал приведенное выше письмо к родителям); здесь же, 15 октября того же 1840 года он надел рясу послушника, здесь же прошел монашеский искус, и год спустя, 26 сентября 1841 г. принял пострижение. По странному совпадению, или, как писал Печерин, «по дивному произволению божественного Промысла», он как раз в день своего пострижения получил первое письмо от родителей, где они изъявляли согласие и благословляли его на принятие иноческого сана. Он отвечал им 5—17 октября (по-русски): «Драгоценное письмо ваше от 29-го августа я получил

14-го (26-го) сентября. Это был незабвенный день в моей жизни. В этот самый день я посвятил себя навеки монашеской жизни, произнес торжественно три обета нищеты, целомудрия и повиновения. Дай Бог, чтобы строгим исполнением моей клятвы я мог загладить все грехи моей прошедшей жизни! Ваше письмо пришло три часа прежде, нежели начался обряд пострижения. Не могу описать вам радости, какую я чувствовал, читая ваши драгоценные строки! Ваше полное согласие, ваше родительское благословение на предпринятый мною подвиг дали мне новые силы: мне казалось, что я слышу голос с неба, ободряющий и благословляющий меня. Величит душа моя Господа и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем! Теперь я простился навсегда с миром: мне остается думать только о Боге и вечности. Душа моя наслаждается спокойствием неописанным. Молитва и изучение Священного писания — вот мое единственное занятие. Здесь время летит с необыкновенною быстротою и каждый бой часов напоминает близость смерти и вечности».

Это письмо писано уже из редемптористского монастыря в Виттеме¹²⁷ (Голландия), куда Печерин прибыл на другой день после пострижения. Отсюда опять через год, 16 октября 1842 г. он отправился в Льеж для получения богословской подготовки, и здесь же 10 сентября 1843 г. был рукоположен во священники трирским архиепископом монсеньором д'Аржанто. Спустя два дня, 12 сентября, он вернулся в Виттем, где провел затем опять ровно год, состоя преподавателем в миссионерской школе монастыря⁶³. Точная хронологическая правильность всех этих передвижений заставляет думать, что все они предписывались уставом ордена, составляя в совокупности миссионерский стаж.

В эти первые годы своей монашеской жизни Печерин довольно усердно поддерживал переписку с родными. Из Виттема он в августе 1842 г. пишет двоюродной сестре по делу, связанному с его прошлым: он просит своих родителей уплатить по счету, присланному к ним из Цюриха; это его неуплаченные долги — учителю музыки, г-ну Гардеру, у которого он жил в начале, второй его квартирной хозяйке г-же Гирцлер, прачке и портному, — всего 30 луидоров; и тут же он сообщает двоюродной сестре «молитву к Пресвятой Деве» св.Бернарда, прося ее из дружбы к нему несколько раз прочитать эту прекрасную и трогательную молитву и, читая, думать о нем. 12/14 сентября 1843 года он пишет родителям (по-рус.): «Драгоценное письмо ваше от 2-го июня я получил, но доселе я не имел возможности отвечать на оное. Я должен был провести две недели в совершенном уединении и непрерывном молчании, дабы приготовиться к принятию священнического сана. В продолжение этого времени я должен был отложить все занятия, могущие рассеять меня: молитва и чтение священных книг одни занимали меня. Потом случилась еще остановка по случаю отсутствия архиепрея; наконец, я принял священнический сан 29-го августа (ст.ст.) из рук архиепископа Трирского и служил первую обедню в здешнем монастыре прошлое воскресенье, 5/17 сентября. Принося на алтаре бескровную жертву, я помянул и вас, и всех наших родных. Обедня была с большою церемо-

ницею, и стеченье народа из всех окрестных сел было чрезвычайное. Я возвратился снова в любезную Виттемскую обитель: здесь ничто не нарушает тишины и уединения монашеской жизни. Наш монастырь стоит уединенно, окруженный холмами, рощами и полями; вдалеке слышен только иногда рожок почтальона на большой дороге; мы видим только добрых поселян, которые каждый день приходят в нашу церковь: многие приходят в 5 часов поутру, чтобы отслушать у нас обедню и потом пойти на работу». Епископ, помазывая его руки миром, сказал: «все, что сии руки благословят, будет благословленно»; поэтому он, недостойный, осмеливается послать им заочно свое священническое благословение. В сентябре 1844 г. Печерина навестил в Виттеме его двоюродный брат, Ф.Ф.Печерин, капитан гвардии. Письмо к двоюродной сестре, которое Печерин вручил ему для передачи, дышит миром и счастием. «Была в Италии святая, — пишет он (по-франц.), — Мария Магдалина де Пацци; она бывала иногда так опьянена счастьем монашеской жизни, что тысячу раз в день целовала стены своей кельи, восклицая: «о, блаженные стены, отделяющие меня от мира!» Мне часто хочется делать то же; я часто готов перецеловать все цветы в нашем саду, даже нашу кошку и корову: мне кажется, будто все эти предметы кричат мне, как некогда бл. Августину: «Августин! люби Бога! Августин! люби Бога!» О, Красота вечно старая и вечно новая! зачем я так поздно начал любить Тебя?» (слова бл. Августина)^{128*}.

За эти годы трижды посетил Печерина Чижов (в 1841, 42 и 44 годах). Его показания любопытны, как стороннее свидетельство о перемене, прошедшем в Печерине. В общем они сводятся к тому, что Печерин действительно нашел мир и удовлетворение в своей новой жизни. После свидания 1842 года Чижов так, спустя два дня, описывал его положение в письме к Никитенко, прибавляя, что все это рассказывал ему сам Печерин, разумеется, в другом освещении⁶⁴: «Монахи поняли его превосходно; они говорят ему: не думай найти здесь отдых; каждая минута наша посвящена на служение Богу; Он предписывает нам пути деятельности, и каждый шаг наш есть шаг человечества. — Ему только того и надобно. Но, говорят они, испытал ли ты себя, достанет ли у тебя сил исполнить высокое назначение? И вот пиша самолюбию и надменности. Испытай себя, тебе год на испытание. Оно состоит в безусловной покорности души и тела; каждую неделю должен ты отдавать отчет и в твоих действиях, и в твоих помышлениях; всегда неожиданно один из братий имеет право спросить тебя о твоих мыслях и чувствах. К этому присоедините строгое ведение и наблюдение в пище, питии и всех мелочах жизни. Конечно, уму его дано обширное по-приче науки, именно его лингвистике; лишь только он вздумает зайти далее, монах улыбнется и говорит: этого мы не ожидаем, нет, для нашего высокого назначения мало детских сил человеческих. Чувствам дана полная свобода. *Воле ни одного шагу, ни полшагу, а он только того и желал*».

Но тот же Чижов с негодованием отзывался о нравственном упадке, в котором застал Печерина: «он принял не только идеи своего звания, но и все предрассудки его»; Печерин «не христиански» говорил, когда разговор

касался образованности России и форм православной веры, хотя и сходился с Чижовым в религиозных понятиях; он упрекал Чижова и других своих товарищев за то, что они повторствовали его самолюбию, внушая ему слишком высокое мнение о его дарованиях⁶⁵. Это были последние отзвуки прежней, мирской жизни. Постепенно Печерин становится спокойнее. После свидания 1844 года Чижов писал Никитенко⁶⁶: «В нынешнюю поездку мою на север я был у Печерина, провел день тихо, спокойно и ладно. Он сблизился с своим бытием; в сближении его я больше вижу, что он нашел приют огромному самолюбию, нежели точно покорился сердцем и умом религии. Религия для него пристань, а раз ее нашедши, нашедши после долгих бедствий и терзаний, с нею уже трудно расстаться... Жаль мне, что у Печерина почти не осталось воспоминаний о прошедшей жизни сердца, но винить его не смею; может быть, ни с его стороны, ни с нашей не было никакого истинно сердечного соединения, все было, может быть, условное, все и уничтожилось с оставлением условий. Наш разговор ограничивался тем, что наиболее занимало нас обоих, именно религию и ее формами, с полным соблюдением внешних форм, налагаемых образованностью, и с полным спокойствием, купленным ценою истинного убеждения».

Год преподавательской деятельности в Виттеме был последним этапом подготовки к миссионерству. Теперь подготовка была кончена, и отныне начинается регулярная деятельность Печерина как проповедника. 10 сентября 1844 года он покинул Виттем, и, проведя некоторое время в Брюгге, где в то время существовал небольшой редемптористский hospice^{129*}, и в Париже, где он, по его словам, видел многих русских, в первых числах января 1845 года прибыл в Фальмут, в Корнуэльс. Отсюда он в апреле писал двоюродной сестре⁶⁷. Он описывал живописное местоположение Фальмута, уютность монастыря, расположенного над самым морем, прелести монашеской жизни. «Птицы поют, сверкает море, проходят суда со своими белыми парусами и разноцветными флагами... Кто так свободен и богат, как монах? Вы заточены в Москве в вашей гостиной и, может быть, умираете со скуки, мы же обходим моря и сушу, свободные, как птицы, которые, по слову евангелиста, не сеют и не собирают в житницах, но которых кормит отец их небесный»; и он вспоминает Пушкинские стихи:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда...^{130*}

Месяц спустя, в конце мая, он пишет двоюродному брату, сообщает, с каким-то детским умилением, распределение дня, принятое в их монастыре, описывает их майский праздник в честь Богородицы — церковь, полную цветов, и неумолкающее пение: «Источник всего этого — таинство любви, которое лежит в основе католической религии и которое чуждо остальному христианским исповеданиям. Любить и страдать — вот наш девиз, вот сокровище, которого никакая власть в мире не может отнять у нас... Христос, страдающий на кресте, и сердце Его Божественной Матери,

пронзенное мечом скорби, — такова сущность нашей веры; а на практике все это сводится к тому, чтобы любить своих братьев и отдавать свою жизнь за их вечное спасение».

Это письмо Печерина к его двоюродному брату от 29 мая 1845 года не дошло по назначению. Оно имело свою историю, которую стоит рассказать. Перехваченное почтою, оно послужило семенем, которое, пав на русскую почву, дало пышный полицейский плод; этот плод хранится теперь в архиве бывшего III отделения в виде обширного дела № 127 за 1845 год «по частному сведению об оставшемся за границею и поступившем в католический монастырь дворянине Печерине». «Частными сведениями» являлось это письмо, попавшее в перлюстрацию.

Лишь только письмо было прочитано и установлена его преступность, из III отделения посыпались во все стороны запросы, имевшие целью установить личность как писавшего, так и адресата, Ф.Ф. Печерина. По поручению А.Ф. Орлова¹³¹ Дубельт¹³² за этими справками обращается почему-то к вице-директору Комиссариатского департамента Никифорову, запрашивают генерал-лейтенанта Полозова и т.п. Постепенно выяснились и полная невинность Ф.Ф. Печерина, и давно забытая история не вернувшегося из командировки и за то исключенного со службы по Московскому университету В.С. Печерина. И вот, от 21 июня (этого же 1845 г.) из III отделения канцлеру Нессельроде¹³³ предписано было поручить нашим посольствам в Германии и Англии собрать подробные сведения о Печерине: что именно было причиной невозвращения его в отчество, перемены им веры и поступления в монастырь в Виттеме, и какая его цель и занятия при настоящем путешествии в Англию; а тем временем по приказанию царя, которому Орлов доложил это дело, началась бесконечная переписка со всем возможными ведомствами по вопросу о том, почему с Печериным в свое время не было поступлено по законам. Наконец в августе начали поступать справки из-за границы, одна фантастичнее другой. Русский консул в Антверпене сообщал, что Печерин уехал в Америку, посланник при германском союзе — что он находится в Люттихе, в иезуитском монастыре. «Касательно же причин, побудивших его переменить веру и не возвратиться в отчество, — писал этот русский посланник (действительный статский советник Убри¹³⁴), — я только (!) узнал, что в бытность его в Англии (!) он имел тесную связь с тамошнею женщиной, и весьма может быть, что дальнейшие его действия были последствием сей связи и расстройства, которое она произвела в его духе, особенно если он заметил, что особа, пленившая его, не заслуживала его уважения». — Привожу эту выписку с целью сохранить от забвения редкий образчик русского казенного остромыслия. Мюнхенский посланник сообщал ближе к истине: причиной перехода Печерина в католичество было, как утверждают, оскорбленное самолюбие при первом его возвращении в Москву и присмотр за его лекциями и за ним самим.

Сношения между ведомствами и вообще канцелярская волокита по этому делу продолжались целых три года. Дело рассматривалось и в Государ-

ственном Совете, и в Сенате. По предписанию последнего Печерину учнен был формальный вызов, о результатах которого мы узнаем следующее: русский генеральный консул в Великобритании имел с Печериным в Фальмуте свидание, но на все его увещания вернуться в отчество Печерин отвечал только: «Вы видите мою одежду, вот единственный ответ, какой я могу дать вам», и после того Печерин принес управляющему консульством письменный ответ, в котором объявлял, что он решительно намерен неозвращаться в Россию и сим отказывается от всех прав и преимуществ, присвоенных русским подданным. Этот ответ был подписан так: Владимир Печерин, священник Братства Святого Иисуса.

17 февраля 1848 г. состоялось постановление Сената: признавая кандидата философии Владимира Печерина виновным: 1) в недозволенном оставлении отечества и неявке в Россию по вызову правительства, и 2) в отступлении от православного исповедания в римско-католическое, лишить его всех прав состояния и счесть навсегда изгнанным из отечества. Об этом решении Печерин должен был быть уведомлен через русское Министерство Иностранных дел.

Таким образом, путь на родину был и формально отрезан. Но для Печерина это уже не имело значения.

XIV

Орден редемптористов

Орден редемптористов или лигворийцев (*Congregatio sanctissimi nostri Redemptoris*, то есть конгрегация Иисуса), куда вступил Печерин, был основан в 1732 г. Альфонсом де Лигвори, жизнь которого историки католической церкви определяют тремя чертами: чрезвычайной строгостью личного аскетизма, пламенным усердием к просвещению светом Евангелия низших слоев населения и усердной пропагандой догматов непорочного зачатия и папской непогрешимости⁶⁸. Эти же три черты характеризуют и основанный им орден, целью которого является прежде всего систематическое миссионерство на месте; по безусловной ортодоксальности он не уступает иезуитскому ордену, а по суровости аскетического режима далеко превосходит его. В первоначальном лигворианском уставе самоубздание и «мортификация» были доведены до крайних пределов: монахам предписывалось спать на соломе, питаться лишь черствым хлебом, плодами и сильно наперченной похлебкой и вкушать пищу коленопреклоненно, трижды в день совершать богослужение, ночью покидать ложе для молитвы, трижды в неделю бичевать себя и проповедовать только среди беднейшего люда и подонков общества. Позднее эти предписания были, правда, смягчены, но незначительно. По уставу, по форме одежды иультраконсервативному характеру этот доныне процветающий орден⁶⁹ настолько схо-

ден с иезуитским, что их многократно смешивают; подобно иезуитам, редемпторист, сверх трех обычных монашеских обетов — бедности, целомудрия и послушания — дает еще и четвертый, в силу которого он может принять какое-либо духовное звание вне ордена или вовсе выступить из ордена не иначе, как с разрешения папы. Но по направлению своей деятельности оба ордена значительно разнятся между собою: в то время, как внимание иезуитов направлено преимущественно на высокую постановку научно- и учебно-богословского дела и на пропаганду среди наиболее влиятельных слоев общества, деятельность редемптористов носит резко выраженный *практический* и *демократический* характер. Враждебные редемптористам протестантские богословы доныне цитируют замечание одного современника св. Альфонса де Лигвори: «другие миссионерства осаждают, он берет штурмом»; это достаточно определяет самого проповедника. Что Печерин вступил именно в этот, а не в другой какой-нибудь миссионерский орден, это могло быть до известной степени случайностью; но несомненно, что условия, которые он встретил здесь, как нельзя более соответствовали его требованиям.

Печерин пробыл редемптористом двадцать лет. Как он жил все это время? — Вот неизменное распределение дня, существовавшее уже тогда и соблюдаемое поныне во всех редемптористских монастырях⁷⁰. В 4 1/2 часа утра встают, в 5 получасовое размышление о религиозных истинах; в 5 1/2 месса и вслед за нею молебствие; потом богословские занятия или работа в церкви по удовлетворению нужд верующих (исповедь и пр.); в 11 час. несколько раз в неделю совместное обсуждение «научных» вопросов (догма, Св. писание, мораль); в 11 3/4 час. литания в честь Пресвятой Девы и затем проверка своей совести; в 12 обед, сопровождаемый душеполезным чтением; с 12 1/2 до 1 1/2 рекреация, когда все монахи собираются вместе; с 1 1/2 час. богословские занятия, молитва или работа в церкви, смотря по обстоятельствам; в 3 час. духовное чтение или собеседование; в 3 1/2 получасовое размышление о христианских добродетелях, затем служба в оратории (псалмы и антифоны); около 7 час. получасовое размышление о страстях Господних; в 7 1/2 час. ужин, сопровождаемый чтением; каждый в отдельности читает про себя так называемый розарий (четки) Девы Марии (Отче наш — 5 раз, Ave Maria — 50 раз), после чего несколько минут проводит перед Св. Дарами; в 9 час. вечерняя молитва, в 9 1/2 сон. Сюда надо прибавить многократные посты и обязательные дни уединения.

Таков был образ жизни Печерина в те дни, которые он проводил в монастыре. Но таких, сравнительно досужных дней у редемптористского монаха не много; его главное назначение, то, что в первой линии требуется от него уставом, — миссионерство, и оно наполняет его жизнь неустанной и чрезвычайно напряженной работой. Дело религиозной пропаганды ведется редемптористами по своеобразной системе, во всех подробностях установленной самим основателем ордена. Так как их обязанность — просвещать светом Евангелия преимущественно беднейшую и наиболее невежественную часть

населения, то для «миссий» выбираются обыкновенно глухие деревни или рабочие кварталы в больших городах. В избранное место вдруг является несколько редемптористов, которые, с разрешения местного духовенства, открывают в местной церкви серию проповедей. Миссия, продолжающаяся очень короткое время, ведется по строго обдуманному плану, напоминающему план военной кампании⁷¹. Весь ряд проповедей представляет собою одно целое, последовательно развертывающееся, как фронт атакующего войска. Проповедник говорит о грехе, о смерти, о страшном суде, об аде, о вечности, затем переходит к вопросам нравственности и особенно останавливается на тех грехах, которые Альфонс де Лигвори назвал четырьмя воротами ада: на сребролюбии, безверии, злобе и разврате; последние две проповеди посвящаются Пресвятой Деве и значению молитвы. Во всех этих проповедях редемпторист должен избегать всяких богословских мудрствований и всякого слова, превышающего понимание простолюдина; он должен давать чистое евангельское учение, план его речи должен быть несложен, фразы коротки и легко усвояемы памятью, язык прост, силен и полон огня. Он должен обращаться к чувству слушателей и, главным образом, играть на двух наиболее чувствительных струнах человеческого сердца — надежде и страхе: надо непрерывно, говорил св. Альфонс, перебрасывать грешную душу из страха в надежду и обратно. Мало того: для вящего действия на воображение массы проповедь редемпториста сопровождается театральными эффектами, предназначеными внезапно вызывать у присутствующих общий крик ужаса или слезы раскаяния. Проповедник вдруг среди проповеди велит молящимся пасть на колени и просить прощения у Христа, или заставляет их пасть к ногам Девы Марии, или увлекает их в крестный ход, или прерывает проповедь призывом к общей молитве. И так изо дня в день пламенной проповедью и потрясающими сценами он постепенно доводит паству до раскаяния.

Но одной проповедью дело не ограничивается. Ежедневно в определенный час совершается служба, во время которой народ молится весь громогласно. Эта молитва должна увлечь равнодушных, так, чтобы ничьи уста не оставались безмолвными. Вместе с тем миссионеры открывают в церкви на эти дни своего рода курс катехизиса, по чрезвычайной удобопонятности доступный и грубейшим умам. Здесь первое место занимает разъяснение важности исповеди, потому что прямая и главнейшая цель миссии заключается в том, чтобы довести возможно большее число грешников до исповеди. Выслушиванием многочисленных исповедей и увенчивается дело миссии. Способ обращения миссионера с кающимся грешником также во всех подробностях установлен св. Альфонсом: неумолимо страшать и во время обнадеживать — таковы главные приемы этой «духовной хирургии». Миссия заканчивается несколькими днями, посвящаемыми созерцанию; в это время миссионеры разъясняют народу значение безгласной молитвы, внедряют в него любовь к Христу и учат его созерцанию. Если удастся, они стараются организовать на месте благочестивое общество верующих. Наконец, для закрепления благих результатов миссии на следующий год после нее в то же место обязательно присыпается, хотя уже в ме-

ньшем числе и на более короткий срок, несколько миссионеров, которые снова проповедуют и исповедуют кающихся; после этого миссия считается законченной.

Этой деятельности Печерин отдал около двадцати лет жизни. Главной ареной его миссионерства были Англия и Ирландия. В Фальмуте он прожил около трех лет, работая на юге Англии, в Девоншире. В 1848 году, по упразднении здешнего монастыря он перешел во вновь основанные редемптористский монастырь в Clapham, в Лондоне. Отсюда он в 1851 году вместе с несколькими другими монахами был послан в Лимерик на первую редемптористскую миссию в Ирландии (она была проведена в церкви св.Иоанна). Судя по его письмам к Герцену 1853 г., он в ближайшие годы еще не раз ездил в Ирландию; из тех же писем видно, что весною 1853 г. он, между прочим, провел миссию на о.Гернсее. Наконец около 1854 года он совсем перебрался в Лимерик, в первую редемптористскую обитель в Ирландии — монастырь Mount St. Alphonsus.

Отцы-редемптористы из Виттема, Клапама и Лимерика, которым мы обязаны этими сведениями, единогласно признают Печерина одним из замечательнейших своих деятелей как по святости жизни, так и по блестящему ораторскому дарованию. В виду строгости их устава, особенно в то время, он должен был, говорят они, мыслить и жить как добный католик, «с желанием совершенствоваться в практике добродетелей» и в соблюдении обетов бедности, целомудрия и послушания, иначе он не был бы допущен к принятию монашеского сана, тем меньше — к миссионерской деятельности. По их словам, в 50-х и 60-х годах он считался величайшим ирландским проповедником и доныне еще его помнят и духовенство, и народ ирландский. Он говорил по-английски превосходно, а когда возвещал слово Божие — «было истинное счастье слушать его». Стечение народа на его проповедях было огромное; иные простаивали всю ночь на улице, или часа в 4 утра взбирались на стену церковной ограды, чтобы во-время занять место. Его имя было известно во всей стране; он любил ирландцев, и ирландцы отвечали ему любовью. Следует прибавить, что несколько его проповедей сохранилось, попав со столбцов газет в сборник проповедей *The catholic pulpit*; к сожалению, мне не удалось добыть эту книгу. Это были проповеди, произнесенные им в Лондоне: 1) о ненависти, 2) о Рождественском посте, 3) о смертном грехе и 4) в день св.Патрика (1849 г.). «Впрочем, — пишет настоятель St. Alphonses в Лимерике, — они были в общем весьма неточно записаны необразованными репортерами и совсем не походили на живую речь. Вдобавок я часто слышал, что поразительное действие его слов можно было приписать больше святости его жизни, нежели его красноречию».

Его жизнь в Англии и Ирландии была, конечно, бедна событиями: «она вся прошла в неустанном труде на церковной кафедре и в исповедальне». Только однажды ее мирный ход был резко нарушен: в 1855 году он был обвинен в публичном сожжении протестантской Библии.

Дело о сожжении Библии

Это дело заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробно. Герцен в своей статье о Печерине упомянул об этом процессе, выставив поступок Печерина как акт крайнего изуверства^{135*}. Тем важнее выяснить правду. Апостол духа, каким мы знаем Печерина, — ужели мог он хотя бы в минутном порыве стать фанатиком буквы? Но этого не было: показание Герцена может быть опровергнуто документально.

Перед нами небольшая книжка в 16-ю долю, изданная в 1856 году в Дублине и озаглавленная так: «The trial of the Rev. Vladimir Petcherine (Redemptorist Father), in the Court-house, Green Street, Dublin, on 7th & 8th December, 1855, for the alledged offence of «Bible burning at Kingstown»*. Это — стенографический отчет^{136**} судебного заседания, где разбиралось дело Печерина; он издан (как видно по приложенному в конце его «Description of the order of the Redemptorist Father»**) редемптористами, которыми руководило, очевидно, стремление реабилитировать в глазах общества орден, опороченный преданием суду одного из его членов. Кроме этого отчета я пользуюсь в дальнейшем изложении подлинным текстом речи, произнесенной на суде защитником Печерина О'Хэганом⁷², и статью о процессе Печерина, напечатанной недавно в народном ирландском журнальчике «The Irish Packet»⁷³. Эти материалы позволяют с полной отчетливостью восстановить картину процесса.

Суть дела заключалась в следующем.

В половине октября 1855 года лимерикские редемптористы с Печериным во главе открыли «миссию» в католической церкви в Кингстоуне, небольшом приморском городке близ Дублина. Миссия продолжалась около двух недель. В своих проповедях Печерин, между прочим, сильно нападал на безнравственность все более наводняющих страну дешевых романов, отечественных или переведенных с французского, и на непоправимый вред, причиняемый душе чтением таких произведений, как всевозможные «Тайны Лондона», или низкопробных журнальчиков вроде «The Family Herald», «London Journal» и пр. При этом он убеждал своих слушателей не только воздерживаться от чтения таких книг, но, во избежание соблазна, следя примеру христиан апостольских времен, собрать и принести их к нему, сколько у кого найдется.

Красноречие Печерина, очевидно, возымело успех: в несколько дней обитатели Кингстоуна нанесли к нему, в комнату заезжего дома, где он жил, целые ворохи романов, журнальных выпусков и т. п. Печерин, следуя

* Судебный процесс преподобного Владимира Печерина (отец-редемпторист) в Корт-хаус, Грин-Стрит, Дублин, 7-8 декабря 1855 г.. по предъявленному обвинению «Сожжение Библии в Кингстоуне» (англ.).

** «Описание ордена отцов-редемптористов» (англ.).

обычной тактике редемптористов, решил усугубить действие своей проповеди всенародным эффектным зрелищем: утром 5 ноября, в воскресенье, вся эта литература была на двух тачках доставлена во двор католической церкви и сожжена в одном большом костре. Прохожие, привлекаемые необычным зрелищем, входили во двор посмотреть — и в результате к вечеру по городу распространился слух, что редемптористы жгли протестантские библии, так как некоторые из этих очевидцев утверждали, что среди горевших книг они заметили один или два целых экземпляра или разрозненные листы *of the authorised version of the Scripture*^{*}, то есть именно англиканской библии.

Тогда началась агитация, вышедшая далеко за пределы Кингстоуна. В редакции газет посыпалось письма с выражением крайнего негодования по поводу богохульственного поступка католических монахов, дерзающих в своем изуверстве истреблять протестантскую святыню, и с требованием суда над редемптористами и особенно над Печерином, который лично руководил сожжением книг. На улицах Дублина расклеивались аналогичные афиши с призывами к протесту, для той же цели собирались многолюдные митинги, англиканские священники с церковной кафедры громили фанатическую наглость редемптористов, и сам англиканский архиепископ в Дублине «нашел нужным и приличным присоединить свой голос к хору изветов»: он публично произнес речь на ту тему, что случай сожжения Библии католическими монахами лишний раз утвердил его в его давнишнем убеждении, что Св. Писание ненавистно католической церкви. Англо-ирландская печать кишила самыми грязными и неистовыми обвинениями против личности, ордена и веры обвиняемого. Словом, партийные страсти жадно ухватились за это дело, чтобы раздуть его в тяжкое национально-религиозное оскорбление всего английского народа. При страшной обостренности отношений между обеими народностями и их церквами в Ирландии, эта агитация легко достигла своей цели; общественное мнение англиканской части населения было распалено до ярости, и английские власти поспешили привлечь Печерина к суду. Какие средства пускались при этом в ход, показал на суде перекрестный допрос, которому защитники Печерина подвергли одного из главных инициаторов обвинения, англиканского церковнослужителя Уоллеса: оказалось, что в разгаре агитации он одно за другим прислал в очень распространенную газету три письма, подписав одно из них «Очевидец», другое «Зритель», третье буквой «С». Кроме того, он 12 ноября произнес в своей церкви проповедь по этому же поводу, которую затем издал отдельной брошюрою под заглавием: «*Глас из плакени. Проповедь о публичном сожжении Библии редемптористами в Кингстоуне 5 ноября*»; эта брошюра выдержала четыре издания и распространилась в тысячах экземпляров. На вопрос защитника, как он решился еще до судебного следствия публично провозглашать обвинение доказанным, и считает ли он такой поступок совместимым со своим званием христианского свя-

* Санкционированного издания Св. Писания (англ.).

щеннослужителя, он преспокойно отвечал, что не видит в своих действиях ничего предосудительного.

Дело разбиралось 7 и 8 декабря в Дублине, куда Печерину снова пришлось приехать из Лимерика. Уже с раннего утра 7 декабря улицы вокруг здания суда в Грин-Стрите были запружены публикой, жаждавшей доступа в зал суда. Но вход был разрешен лишь по билетам. Зал оказался битком набитым; преобладали, разумеется, духовные лица обоих исповеданий; хоры были полны дам. Председательствовали судьи сэр Крамптон и барон Грин, по словам автора статьи в *Irish Packet* — «люди закоренелых антикатолических взглядов», обвинял сэр Уильям Киог, «тот самый, который несколько лет спустя принял участие в другом нападении на католическое духовенство, получившем еще гораздо большую известность». Зато главным защитником Печерина выступил знаменитый ирландский адвокат, видный борец за политическую и религиозную свободу Ирландии, Томас О'Хэган. Состав жюри был смешанный — из англикан и католиков.

Заседание открылось пространной речью представителя короны. Он говорил о святости Библии, о мировом ее значении, о долге государства бороться с фанатизмом и пр.; речь его, на вид беспристрастная, дышала твердой уверенностью, что инкриминируемый поступок действительно совершен обвиняемым, и совершен сознательно, с обдуманным намерением. Он кончил тем, что настоящее обвинение имеет целью не покарать виновных, а показать пример: «Поэтому, каков бы ни был ваш приговор, я буду удовлетворен. Но на одно я твердо надеюсь — что этот процесс послужит уроком стране и водворит в ней отныне мир и милосердие».

Вслед затем начался допрос свидетелей. Первым допрашивали мальчика Дёффа, одного из главных свидетелей обвинения. Он рассказал, что дня за четыре до 5 ноября, когда он с другими мальчиками был в католической церкви в Кингстоуне, отец Печерин спросил его, есть ли у него тачка, и, получив утвердительный ответ, велел ему 5-го числа придти с нею к нему в гостиницу. 5-го утром он явился с тачкой к о. Печерину; вторую тачку привез другой мальчик, Том Дойль. Когда они, и с ними еще другие мальчики, вошли в комнату, они увидели под столом целую гору книг; о. Печерин велел служителю достать оттуда книги и нагрузить их на тачки. Слуга доставал, а мальчики клали на тачки; после этого о. Печерин велел им отвезти книги на церковный двор. Прибыв сюда, мальчики сели на тачки в ожидании о. Печерина; он пришел полчаса спустя и велел им свалить книги на землю и зажечь, а сам пошел по направлению к ризнице. Они зажгли книги; минут через 20 он вышел, молча постоял у костра минут пять и опять пошел в ризницу. Все это время по церковному двору проходило много народа. На перекрестном допросе Дёфф показывает, что он грамотен, что успел рассмотреть обложки некоторых книг — это были *«The Family Herald»*, *«The Mysteries of London»*, много выпусков *«Reynolds' Miscellany»*** — и что среди них он заметил одну тонкую книгу в черном переплете с тисне-

* «Семья Хералдов», «Лондонские районы», «Смесь Рейнолдса» (англ.).

нием, которой он не открывал, но которую по общему ее виду принял за Новый завет. На вопрос, возможно ли, что кто-нибудь из толпившихся на церковном дворе подкинул книгу и он этого не заметил бы, Дёфф отвечает, что это было возможно.

Затем допрашиваются Генри Ляусон, служащий кучером у некоей мисс Гибтон, и его брат Чарльз, служащий у той же госпожи. Оба они присутствовали некоторое время при сожжении книг; оба утверждают, что видели на верху обеих тачек по одной Библии. Чарльз предъявляет несколько листков, подобранных им на том месте, где был костер, на другой день после происшествия; он утверждает, что они принадлежат к англиканскому изданию Библии; но на многократные вопросы, какие основания он имеет утверждать это, он отвечает молчанием. Его заставляют признаться, что поискать листков его послала его госпожа, мисс Гибтон. На вопрос: из чего вы заключили, что книга, лежавшая на верху тачки, была Библией, — он отвечает, что прочитал на корешке слово «*Testament*». — Что же, это был Старый или Новый завет? — Она была в новом переплете. — В зале, разумеется, гомерический хохот.

Остальные семь свидетелей обвинения не прибавляют к показаниям предыдущих ничего нового. Все они принадлежат к англиканской церкви, все путаются в своих показаниях, почти все между собою знакомы; один из них — полицейский констебль, двое — англиканские священники, принимавшие деятельное участие в возбуждении настоящего процесса. Об одном из них, Уоллесе, я уже упоминал; это — один из главных свидетелей обвинения, так как он показывает, что видел, как мальчики подталкивали в огонь *много* книг, в которых он, стоя на расстоянии 10-ти ярдов, с уверенностью признал англиканские Библии. Однако присягнуть, что это точно были Библии, он не пожелал, а на вопрос: как же он, священник, видя такое кощунство, не вмешался и не спас священные книги от сожжения, он ничего не нашелся ответить.

Как ни подозрительны и сбивчивы были все эти показания, они с достаточной определенностью выяснили, что один или два экземпляра Св. Писания — и вероятно в англиканском издании — действительно были замечены на верху тачек и сожжены. С этими фактами и должен был считаться защитник Печерина.

Смелая, блестящая по форме речь О'Хэгана проникнута искренностью и убежденностью, исключающими обыкновенные адвокатские ухищрения. Отвечая представителю короны, назвавшему Печерина фанатиком, он начал с характеристики подсудимого: «Это — человек незаурядный как по положению, так и по характеру; это — христианский священник и вместе зрелый ученый, блестящий оратор и совершенный джентльмен. Происходя из дворянского рода, он пользовался уважением на своей родине и нес общественную службу в родном университете. Пред ним открывалось почетное поприще; но он отрекся от всех земных выгод, порвал все земные узы, когда совесть и долг потребовали этой жертвы. Он отказался от родины, семьи, старых связей и любимых друзей, отверг надежды благородного чес-

толюбия, чтобы в совершенной бедности и самоотречении посвятить себя служению Кресту; и уже многие годы он работает над духовным возрождением своих близких, не путем пылких споров или возбуждения сектантских распрай, а неустанным старанием очистить их нравственную природу и улучшить их повседневную жизнь. И благодаря мощному действию своего красноречия, страсти своих убеждений и вдохновительной силе своего примера он достиг, кажется, поразительных успехов. К такому человеку я не могу не чувствовать глубочайшего участия, видя его у решетки уголовного суда, в чужой стране, обвиняемым в кощунстве над Св. Писанием, которое он, конечно, чтит выше всего, и в презрении к божественной религии, ради которой он кинул все, чем дорожит человек. Это участие превращается в тревогу, когда я вспомню, что для того, чтобы предопределить исход его процесса, были пущены в ход с неутомимым и чрезвычайно успешным усердием преувеличенные донесения, ложные свидетельства и злонамеренные клеветы». Изобразив затем недобросовестную агитацию против подсудимого, имевшую целью «затемнить истину, исказить ход судебного следствия и сокрушить беззащитного проповедника всей тяжестью разгоряченного общественного мнения и могущественного предрассудка», защитник перешел к предмету обвинения. Целым рядом ссылок и примеров он доказал, что католическая церковь вообще и ирландская в частности никогда не были враждебны Св. Писанию. Затем он характеризовал орден редемптористов: члены его живут в бедности и лишениях; они переходят с места на место, неся непрестанный и тяжелый труд, работая для спасения человеческих душ, не ища награды, не получая мзды; их пища — самая грубая, их одежда — самая убогая. В Кингстоуне они ратовали против пошлой и безнравственной литературы, и вот неожиданно на них пало тяжкое обвинение. Защитник последовательно из момента в момент изложил всю историю сожжения книг, доказывая, что если при этом и сгорели, как говорят свидетели, один экземпляр Библии и один Евангелия, то это произошло без ведома Печерина. По единогласному показанию свидетелей, говорил он, эти книги были замечены ими, одна — на верху одной тачки, другая — на верху другой; нам говорят, что на церковный двор в это время входило много людей; наконец мы достоверно знаем, что нагруженные книгами тачки полчаса простояли на дворе до прихода Печерина и что он и затем уходил в ризницу. Не естественно ли предположить, что в один из этих промежутков кто-нибудь из присутствовавших здесь зрителей подкинул эти книги на тачки? Это мог быть или протестант, желавший скомпрометировать католических монахов, или, наоборот, католик, быть может, давно раздраженный насилиями протестантов над ирландскими католиками. Если бы Печерин хотел путем сожжения протестантской Библии уни́зить англиканство в глазах кингстоунского населения, он, конечно, сжег бы не два экземпляра и сделал бы это демонстративно, а не под видом истребления дешевых романов. Но такая цель была ему совершенно чужда; в своих проповедях он нападал только на пошлую беллетристику и сжигал книги в полной уверенности, что уничтожает только такие книги. Он горя-

что осудил бы поступок, какой ему приписывается, и потому обвинение, взвешенное на него, столь же оскорбительно, как и неосновательно. «Мой почтенный клиент сожалеет, что благодаря его неосторожности или недостаточному знанию тех особенных условий, какие существуют в этом раздираемом смутою королевстве, он кому бы то ни было дал повод к обиде. Его призвание и долг — бороться с заблуждением и провозглашать истину, «не заботясь о последствиях»; но на замысел публично бесчестить убеждения какой-либо части ирландского народа он не способен и в таком замысле не виновен».

Речью О'Хэгана закончился первый день судебного разбирательства. На следующий день предстоял допрос свидетелей защиты; но тут разыгрался инцидент, живо напоминающий исторические подвиги председателей суда в кишиневском и гомельском процессах. Предубежденность обоих коронных судей, Крамптона и Грина, против обвиняемого ясно обрисовалась уже с самого начала судебного следствия как в постановке вопросов, которые они сами предлагали свидетелям, так и в их отношении к защите. Когда, например, один из защитников спросил Чарльза Лаусона, не состоит ли он прихожанином церкви Уоллеса, судья снял этот меткий вопрос, как не относящийся к делу. Только предвзятостью можно было объяснить, с английской точки зрения, и безмолвие обоих судей во время допроса Уоллеса: агитация, предпринятая последним до судебного следствия и, следовательно, клеймившая позором человека еще не осужденного и, быть может, невинного, представляла собою такое грубое нарушение элементарной справедливости, столь незаконно стремилась предопределить приговор суда и была ведена такими неблаговидными средствами, что, как справедливо замечает автор статьи в *Irish Packet*, если бы председателем суда был человек беспристрастный и дорожащий интересами правосудия, он не преминул бы сурово осудить поведение Уоллеса. А Крамптон и Грин во все время допроса Уоллеса хранили невозмутимое спокойствие.

Первым свидетелем защиты, вызванным по открытии заседания 8 декабря, был некто Джемс Коольфильд из Кингстоуна, католик. На вопрос защитника, посещал ли он проповеди о.Печерина, он отвечает утвердительно. Тогда защитник спрашивает: «Были ли вы на какой-нибудь из проповедей, где о.Печерин говорил о безнравственных книгах?» Тут в допрос вмешивается прокурор, заявляя, что суд не может допустить вопросов, касающихся содержания проповедей обвиняемого, и судья Крамптон подтверждает это. В ответ защита объясняет, что расследованию суда подлежат два раздельных факта: во-первых, факт сожжения книг Св. Писания, во-вторых, умышленность такого поступка; для установления же в данном случае наличности умысла существенно важно выяснить, приглашал ли Печерин своих слушателей приносить к нему для сожжения и священные книги. Это разумное объяснение, однако, не убедило судей; после долгих пререканий ходатайство защиты было категорически отклонено под тем чудовищным предлогом, что принять во внимание содержание проповедей

подсудимого значило бы дать законную силу показанию обвиняемого в его собственную пользу, что воспрещено законом.

После такой резолюции защита увидела себя вынужденной решиться на смелый шаг: О'Хэган заявил суду, что он и его товарищи решили вовсе не вызывать никаких свидетелей и предоставить суждение о вине или невинности их клиента исключительно разуму и совести самих присяжных.

Следовавшее затем пространное резюме барона Грина было проникнуто явным желанием внушить присяжным уверенность в справедливости обвинения. В 1 ч. 20 мин. дня присяжные удалились в совещательную комнату, и в 2 ч. 40 мин. вернулись с приговором. По традиционному английскому церемониалу секретарь короны, сделав поименную перекличку присяжных, спросил: «Что вы скажете, господа?» — «Что о. Владимир Печерин *не виновен*».

В отчете по этому процессу, изданном редемптористами, рассказывается, что приговор присяжных исторг у публики, наполнившей залу суда, долгий, единодушный гром рукоплесканий, которые тщетно пытались прекратить звонок председателя. Мужчины махали шляпами, дамы платками, все наперерыв старались добраться до Печерина, чтобы пожать его руку. Он сам был тронут до слез этими выражениями радости и участия. Когда приговор стал известен толпе, ждавшей на улице, снова раздались восторженные крики; при выходе Печерин был встречен долго не смолкавшими рукоплесканиями; с трудом добрался он среди теснящейся толпы к карете, и та же толпа проводила его до самого дома, где он жил. Кингстоун в этот вечер был иллюминован.

Это был за все годы католической жизни Печерина единственный раз, когда ему пришлось выступить на шумное торжище света. Во все время процесса он не произнес ни одного слова.

Прибавлю следующие строки из письма нынешнего капеллана больницы *Mater Misericordiae*^{*}: «Именно этот процесс так выдвинул Печерина в общественном мнении этой страны (Ирландии). Все ему сочувствовали; все понимали, что он стал жертвой протестантского озлобления против католицизма, и в католической стране, какова Ирландия, интерес, возбужденный этим делом, естественно, был очень велик. Лорд О'Хэган (позднее лорд-канцлер Ирландии), защищавший Печерина, произнес по этому делу знаменитую речь, давшую этому ученому адвокату имя, которое не скоро забудется».

Слух об этом процессе дошел и до родителей Печерина в Одессе; по-видимому, отвечая на их запрос, он год спустя извещал мать о своем оправдании.

Таково было католическое служение Печерина. Его переписка с Герценом показывает его нам с другой стороны.

* Богоматерь Милосердная (*лат.*).

Печерин и Герцен

Герцен виделся с Печериным только раз, в апреле 1853 года. В России они не знали друг друга, но Герцен много слышал о Печерине от Редкина, Крюкова^{137*}, Грановского, знал его «Торжество смерти», знал и содержание его письма к Строгонову. Теперь, случайно услыхав, что Печерин в Лондоне, Герцен отправился к нему в редемптористский монастырь в Клапаме. Печерин тогда едва перешагнул за половину своей жизни. Ему суждена была долгая, слишком долгая жизнь.

Перед Герценом был невысокого роста пожилой священник в граненой шапке и в сутане; его лицо было старо, старше лет; в его речи и движениях был тот «искусственный покой, которым особенно монахи, как сущемой, заморяют целые стороны сердца и ума»^{138*}. Разговор шел сначала по-французски, потом по-русски. Он был незначителен; Печерин спрашивал об общих знакомых, Герцен рассказал ему о смерти и похоронах Крюкова, об успехах Грановского. Заговорив о Москве, Печерин сказал, что с содроганием вспоминает то время, когда покинул Россию; особенно тяжела в ней, прибавил он, судьба меньшинства, получившего образование. Он с теплым участием отзывался о доброте и наивности русских крестьян; он часто вспоминает их, глядя на ирландских мужиков; у них много общего в характере. Пред расставанием Герцен попросил у Печерина копию его «Торжества смерти» для напечатания в «Полярной Звезде»^{139*}, но Печерин только удивился, как может его интересовать такое ничтожное, ребяческое произведение, и уклонился от разговора, сказав, что смотрит на эти стихи с таким чувством, с каким выздоровевший вспоминает свой бред в жару.

Гораздо содержательнее, нежели этот разговор, была переписка, завязавшаяся между Герценом и Печериным вслед за их свиданием. Она равно характерна для обоих. Дня три спустя Печерин написал Герцену небольшую записку, где говорил о своем искреннем сочувствии слову свободы — свободы для его несчастной родины, о своем несогласии с его, Герцена, программой (Герцен оставил ему объявление вольной русской типографии) и о любви католического священника, обнимающей все партии и все мнения. По его просьбе Герцен доставил ему две свои книги, в том числе, вероятно, свою брошюру о развитии революционных идей в России, и через несколько дней, прочитав их, Печерин отвечал ему пространным письмом. Вы и ваши друзья, писал он, все надежды возлагаете, кажется, на философию и изящную словесность; неужели же вы думаете, что этими средствами может быть обновлено общество? История противоречит такому мнению. Она учит нас, что основою государства всегда была одна религия и что философия и словесность расцветают как раз в периоды упадка, и каждый раз, когда философия бралась за пересоздание общества, она неизбежно приводила к жестокому деспотизму, как у Фридриха II, Екатерины,

Иосифа II. Опираясь на собственные слова Герцен, Печерин спрашивает: вы сами говорите, что вы — Онегины, что ваша основа — отрицание и сомнение; можно ли перестраивать общественный порядок на таких основаниях? Он кончает письмо уверением, что пишет все это не для спора: он считал своим долгом высказать свою мысль, потому что иногда умнейшие и благороднейшие люди, не замечая того, ошибаются в самой основе^{140*}.

В своем ответном письме Герцен разъяснил Печерину, что освободительную роль он приписывает не философии и литературе, а науке: единственная причина пауперизма и рабства — невежество, и только наука может дать массам хлеб и кровь; «не пропагандой, а химией, механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками скимали физически и нравственно»^{141*}. Предполагая в своем собеседнике антипода, Герцен выразил свою мысль с умышленной резкостью, довел ее до крайности, которой в действительности был чужд и тогда; разумеется, и в 1853 году он ждал спасения не от одной химии и железных дорог, а шестнадцать лет спустя он сам во всеуслышание заявит, что миру нужна прежде всего проповедь — проповедь неустанная, равно обращенная к хозяину и к работнику. Но перед Печеринным были строки, не допускавшие двух толкований: здесь шла речь об основе всех убеждений — о выборе между духом и материей, между землею и небом, — и Печерин почувствовал себя глубоко задетым. Он ответил письмом⁷⁴, страсть которого очень далека от того клерикального покоя, какой Герцен увидел в чертах его лица. «Признаюсь вам откровенно, — писал Печерин, — ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом. Что будет с нами, когда *ваše* образование одержит победу? Для вас *наука* — все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое, наука — так, как ее понимал мир до сих пор; но наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме него. Химия, механика, технология, пар, электричество, великая наука пить и есть, поклонение личности, как бы сказал Мишель Шевалье^{142*}. Если эта наука восторжествует, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели, по крайней мере, возможность бегства в степи Египта, меч тиранов останавливался у этого непереходимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посыпает пароходы, журналы ее проникают до раскаленных пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтоб их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелиц, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: «Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса и электричество. Идите председательствовать на наших пирах, рай здесь на земле, — будем есть и пить: ведь мы

завтра умрем!» Вот, что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?.. Стоило ли покидать Россию из-за умственного каприза? Россия именно начала с науки так, как вы ее понимаете, она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальной моши, она призывает все таланты на служение себе и на пир своего материального благосостояния, она сдается самой образованной страной в мире. Провидение ей дало в удел материальный мир, она сделает рай из него для своих избранных. Она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу. Но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, какое нам дело до этой цивилизации настоящей минуты? Россия никогда не будет меня иметь своим подданным»^{143*}.

«Оленя ранили стрелой!» Голый материализм, исповедание которого Печерин увидел в словах Герцена, заставил и его довести свою мысль до крайности. В своей апологии духа он совершенно игнорирует материальную сторону жизни и, значит, страдания масс, отстаивая интересы исключительно небольшой горсти людей, склонных к созерцанию, — и в этом смысле Герцен справедливо отвечал ему потом, что если шум рынка мешает, то не рынок надо уничтожить, а самому отойти. Но суть дела была для Печерина, конечно, не в этом: его ужаснула материальность самого идеала. Ему, утописту по натуре, выросшему на Шиллере и вскормленному утопическим социализмом Сен-Симона и Фурье, возложившему на себя тяжелый крест Бога любви, Бога духа, — ему ужас и отвращение внушала эта программа нового социализма, умалчивавшая о душе и ставившая себе целью только общую сытость. Это ли тот «лучший мир», образ которого неизгладимо был напечатлен в его душе? И ради этого стоило ли бы жить и отдавать свою жизнь на службу человечеству?

Эти письма, я сказал, равно характерны и для Герцена, и для Печерина. В половине 30-х годов Герцен отшатнулся бы от той программы, которую наметил теперь в своем письме, и в основе безусловно согласился бы с Печериным; но с тех пор он, в ногу с веком, далеко ушел от тех мыслей. Печерин же, уйдя из жизни, остался тем, чем был тогда: римская сутана консервировала в нем утопический идеализм 30-х годов. Он замуровал себя в католичество и уцелел, но уцелел как окаменелость; в этом было его несчастье и в этом его красота, потому что прекраснее той мечты, которой он был верен, человечество не знает.

Характерно и то, что его взгляд на Россию остался тот же, какой был общ всем нашим идеалистам в 30-х годах; так, и Станкевич полагал, что в русском народе практический элемент преобладает над прочими и что человеческая сторона «заснула в нем под звук валдайского колокольчика, под говор ярмарок». К 1853 году, после славянофильской пропаганды и огромных успехов в изучении народа, какие были сделаны за это время, взгляд русской интеллигенции на народ успел радикально измениться; но до Печерина уже ничто не проникло сквозь стены монастыря, — он остался при старом убеждении.

Пробуждение

Шли годы, Печерину было уже за пятьдесят; он шестой или седьмой год мирно жил в редемптористской обители в Лимерике, время от времени выезжая на миссии. И вдруг что-то сделалось с ним — что, мы не знаем: около 1860 года в нем произошел новый перелом, не менее удивительный, чем тот, который привел его в монастырь.

В позднейшем отрывке из своих воспоминаний (1869 г.), упомянув о том, как в 1830 году его разбудил от дремоты гром июльской революции, он продолжает: «С тех пор я уже более не засыпал... Ах, нет! виноват, грешный человек! Я проспал двадцать лучших лет моей жизни (1840—1860). Да что же тут удивительного! Ведь это не редкая вещь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты! Я и то, и другое сделал: и проспал, и проигрался впух»^{144*}.

Но что случилось? Позади были двадцать лет суровой, замкнутой жизни, где каждый день был расписан по получасам на дела благочестия, где личная воля должна была каждый день сызнова умирать (*mourir tous les jours à la volonté progrée*, требовал устав), двадцать лет святости и неустанный проповеди евангельского слова среди униженных и несчастных. Если это был долгий сон, то что же теперь разбудило Печерина? Или он уснул просто от великой усталости и ему понадобилось двадцать лет, чтобы вполне отдохнуть? Или он убедился, так поздно, что одного слова и примера не довольно, чтобы обновить мир, — что новые пути к обновлению, найденные с тех пор, как он удалился из жизни, успешнее ведут к цели, и горько пожалел о богатых силах своей молодости, растряченных в погоне за химерой? Я не знаю этого; но несомненно одно: самое его пробуждение свидетельствует о том, что под сутаной и клобуком в нем не умер живой дух и не погасла мечта о лучшем мире. Не житейских утех взялкала его душа; напротив, конец своей жизни он проведет еще в большем удалении от мира, еще в большем смирении и безмолвии. Снова поднимать нить мирского дела там, где он оборвал ее, было поздно, — оставалось смириться в последний раз и терпеливо ждать конца. Он и в эти остальные годы представляет необыкновенное зрелище. Казалось, за столько лет монашества в нем все должно было окостенеть, — и таким он действительно показался Герцену. Но нет: он остался совсем живой, сохранил полную гибкость ума и широту духа. Он прожил после этого, почти не стареясь, еще целую четверть века — точно в самом деле те двадцать лет были укрепляющим сном среди дня.

Сам Печерин приурочивает свое «пробуждение» к 1860 году. Раз ошибка была сознана, надо было покончить с прошлым. И вот, в 1861 г. Печерин

* Умирать ежедневно по собственной воле (*franç.*).

выступает из ордена редемптористов. В этом ордене не легко получить диспенс. Принимая пострижение, редемпторист, сверх трех обычных монашеских обетов, дает четвертый, в силу которого он обязывается оставаться в ордене до гроба под страхом анафемы; единственный случай, когда разрешается просить об увольнении, — явная воля на то Бога (*manifestation authentique des volontés de Dieu*). Печерин мотивировал свою просьбу желанием удалиться от внешних дел и всецело посвятить себя созерцательной жизни в качестве трапписта. По словам лимерикского настоятеля, отцы ордена приложили все усилия, чтобы удержать его от этого поступка, доказывая ему, что его стремление уединиться — не что иное, как искушение. Кажется, именно по этому делу Печерин ездил в Рим, где пробыл (по словам procuratore римского отдела ордена редемптористов) короткое время; проездом он останавливался и в Париже.

8 декабря 1861 года Печерин вступил в цистерцианский монастырь^{145*} Mount Melleray (Carroquin, графство Waterford, на юге Ирландии), и 25-го числа того же месяца принял пострижение, получив имя «отца Андрея». Этот орден, посвященный исключительно созерцанию и аскезе, — один из суровейших в католичестве. «Со времени его вступления сюда, — пишет престарелый аббат, живший в общине уже до Печерина и с любовью вспоминающий о нем, — и до его выхода он служил назидательным примером. Он принимал участие во всех благочестивых упражнениях и, хотя слабого сложения, ходил неукоснительно на ручную работу. Промежутки он посвящал молитве и научным занятиям». Он прожил в этой общине, однако, лишь полтора месяца; он выступил 23 января 1862 г., потому что убедился, как занесено в реестре монастыря, что уединение и молчание слишком тяжело отзываются на нем. Редемптористы с самого начала покачивали головами. «Многие думали тогда, — пишет отец-редемпторист O'Laverty из Лимерика, — что он сделал этим большую ошибку и что его истинным призванием было проповедничество и миссионерство. То, что многие думали тогда, оказалось справедливым. Слабое здоровье делало его непригодным для суровой, трудной жизни трапписта; ему очень скоро сказали, что у него нет призыва к ней. По нашим правилам те, кто оставляет нас, не принимаются обратно: но в виду из ряда вон выходящей чистоты его жизни (*his extraordinary virtue*) был возбужден вопрос об исключении в его пользу. Каким-то образом эти переговоры не привели ни к чему, и он удалился в частную жизнь» (то есть снял монашескую одежду и остался просто священником).

Но дело было совсем не так, как простодушно верит и пишет добный настоятель. Печерин не вернулся бы в их монастырь, — он и ушел от них потому, что начал просыпаться; а за эти немногие месяцы с ним случилось нечто такое, что окончательно заставило его прийти в себя. Четыре года спустя он к слову в письме рассказал этот случай. Он говорил о баронессе Розенкампф и о влиянии, которое она имела на него, — и тут он продолжает: «Кстати о влиянии женщин. Одна любезная петербургская девушка вышла замуж за ирландского джентльмена здесь в Ватерфордском графстве.

Они познакомились самым романтическим образом в Неаполе в Hôtel de Russie. Я гостил у них несколько дней в 1861 г. Тут в первый раз я узнал, как быстро Россия двинулась вперед после 1855 г. M-rs Foley многое мне рассказала о Петербурге, показывала мне русские иллюстрированные журналы, разные русские изделия и пела мне русские песни. Тут я встретил старых и очень старых знакомых, напр.: «Вот мчится тройка удалая» и «Трава шелковая» и даже «Талисман». Эти русские звуки раздавались в уединенном ирландском коттедже между дикими горами недалеко от монастыря траппистов, в котором я провел три месяца в земледельческих упражнениях и где я видел собственными глазами, в настоящей действительности, совершенный идеал первобытной христианской республики. *Может быть я бы и навсегда остался у этих добрых траппистов — если бы не песни г-жи Foley! Мне ужасно как хотелось узнать, что сделается с Россиею!*

Знала ли молодая женщина, кому она пела и какие чувства будили ее песни и рассказы в душе ее слушателя? — Это впечатление было последним толчком для Печерина. Звук родной песни потому и дошел до его сердца, что он уже раньше проснулся.

В январе Печерин выступил из общины траппистов, а в феврале того же года (1862) архиепископ дублинский, кардинал Кёллен, утвердил его капелланом при одной из главных дублинских больниц — Mater Misericordiae. Здесь Печерин и провел последние 23 года своей жизни. От редемптористского ордена он был официально отчислен только 5 октября 1863 г.

Проснулось ли в Печерине неистребимое влечение сына к матери-родине, или, может быть, освобождение крестьян и все вообще светлое начало нового царствования заставили его изменить свое мнение о России, — во всяком случае, перелом, совершившийся в нем около 1861 года, духовно вернул его России. С половины 1862 года начинается в лондонском «Колоколе» длинный ряд отметок о пожертвовании В. Печериным то 1, то 2 фунт. стерл. в «Общий фонд», на поддержку нуждающихся русских эмигрантов. 10-м октября 1864 г. помечено его стихотворение «Мечта юноши», конец которого я привел выше. Оно начинается теми четырьмя стихами, которые четверть века назад Печерин написал Чижову:

Снова слышу — голос милый
Песнь знакомую поет,
И, как Лазарь из могилы,
Тень минувшего встает.
Прояснися, прояснися.
Сумрак ранних детских дней,
Из-за тучи улыбнися,
Солнце юности моей!
После долгих треволнений
Вижу снова брег родной,
И толпа святых видений
Вновь мелькает предо мной...⁷⁵

Вслед затем возобновляется переписка Печерина со старыми друзьями — Никитенко и Чижовым, и с его племянником, жившим в Одессе, С.Ф. Поярковым.

И, странным образом, в это самое время в первый раз вспомнили о нем в России. В августе 1863 г. Катков на страницах «Московских Ведомостей», рассматривая вопрос о религиозной свободе вообще и польском католицизме в частности, нашел случай заговорить о Печерине. С теплым чувством и уважением рассказал он о профессорстве Печерина, о его внезапном обращении в католичество; его сведения о жизни Печерина в данный момент совершенно точны, — по всей вероятности, он получил их от Чижова или кого-нибудь другого, кто интересовался деятельностью Печерина. Он высказывает за широкую терпимость по отношению к таким людям, как Печерин. «Бросим ли мы в него камень? — писал он в заключение, — укорим ли его за отпадение от православной церкви, которой он почти не знал и к которой он принадлежал только по имени? Он стал католиком, но он стал христианином. Убеждение его было искренно и чисто; все знающие Печерина свидетельствуют о том. Образованный и развитый ум спас его от изуверства, в которое нередко впадают новообращенные. Он тихо исповедывает свою веру, молится, служит при больнице, утешая страждущих и напутствуя отходящих в вечность. Но преданный делу своего церковного служения, он, может быть, не без грусти вспоминает о своем далеком отечестве. Неужели какой-нибудь ксендз Мацкевич, предводительствовавший шайками мятежников в Литве, имеет более прав жить и священствовать в России, нежели, напр., Печерин?»

Через неделю Погодин, в тех же «Московских Ведомостях», отозвался на статью Каткова. Смысл его реплики тот, что такие даровитые и образованные ренегаты, как Печерин, заслуживают сугубого осуждения, и что простить их особенно опасно. Погодин передает свои личные воспоминания о Печерине (мы цитировали их выше) и, припомнив его блестящие успехи на кафедре греческого языка в Москве, говорит: «Печерина ни за что на свете не пущу жить и священствовать в России, потому что он привлечет к себе прозелитов еще больше, чем к греческому языку». И Катков, испугавшись своей государственной неосмотрительности, поспешил в этом же номере, в передовой статье, расшаркаться перед Погодиным и с грустью признать, что, действительно, при решении общественных вопросов необходима величайшая осторожность, и т.п.

Эта чудовищная полемика дошла до слуха Печерина. Кн. П.В. Долгоруков, не будучи с ним знаком, но много слышав о нем, послал ему в Дублин эти два номера Катковской газеты в сопровождении письма, где предлагал страницы своего журнала (он издавал тогда в Брюсселе «Листок») для ответа, в случае, если он, Печерин, пожелает «сказать и свое слово в этой полемике».

Печерин ответил ему; это письмо, с пояснительной заметкой Долгорукова, было напечатано в 12-м номере «Листка» (от 23 сент. 1863 г.). Оно удивительно, как все, что написал Печерин, но самое непостижимое в

нем — эта свежесть ума и чувства после 20-летнего столпничества, какое-то просветленное одушевление в выходце из могилы. Его нельзя читать без волнения.

47, Dominick-Street, Dublin,
7 сентября, 1863.

«Почтеннейший Соотечественник!

Ваше имя давно мне известно из иностранных журналов, да и «Листок» ваш тоже читаю. Я привык уважать вас, как непреклонного защитника правды, и вполне разделяю ваши мнения и надежды касательно будущего России. Чувствительно благодарю вас за ваше ко мне внимание и за присылку книг и журналов: это драгоценный для меня подарок.

Но что же мне делать с «Московскими Ведомостями»? Эти статьи застали меня совершенно врасплох: я никак не мог вообразить, чтобы, после двадцатилетнего отсутствия, мои соотечественники еще вспомнили обо мне, и с таким лестным участием. Я очень благодарен, но, признаюсь по совести, не могу принять симпатии, которой не заслуживаю. Издатель «Московских Ведомостей» желает какой-то свободы совести в пользу русского правительства, то есть ему хочется найти католических священников, преданных русскому самодержавию! Едва ли где он их найдет. Но за себя, по крайней мере, я могу отвечать: я никогда не был и не буду верноподданным! Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше: если б я был на их месте, я бы действовал, как они действуют, лишь бы только Бог даровал мне их долю энергии и веры. Я никогда не думал, чтобы католическая религия, в какой бы то ни было стране, должна была служить опорой самодержавию и помогать Нерону казнить строптивых христиан. Я вполне разделяю мнения благороднейшего представителя католицизма, г. Монталамбера; я желаю той неограниченной свободы совести, которую он так красноречиво защищал на Мехельнском конгрессе, и с ним же верю в будущий союз демократии с католицизмом. Истинная вера вышла из среды народа, не от кесаря, не от иудейской аристократии, а от бедных рыбаков. Рыбак Петр проповедовал ее простому народу и уловил мир в сети свои!^{147*} А император Константин^{148*} не много сделал ей добра своим высочайшим покровительством: церковь могла бы обойтись без него и лучше бы ей было!

Странные у людей понятия о так называемых *обращениях* в католическую веру! Восприимчивость пылкой юности — проповедь — католический священник: все это вздор! Оно вовсе не так было!.. Никакой католический священник не сказал мне ни слова и не имел на меня ни малейшего влияния! Мое обращение началось очень рано: от первых лучей разума, на родной почве, на Руси, в глухи, в русской армии. Зрелище неправосудия и ужасной бессовестности во всех отраслях русского быта — вот первая проповедь, которая сильно на меня подействовала! Тоска по загранице охватила мою душу с самого детства. На запад! на запад! кричал мне таинственный голос, и на запад я пошел, во что бы то ни стало! Католическая вера

явилась гораздо позже: она была лишь un corollaire, необходимое заключение долгого логического процесса, или, лучше сказать, она была для меня последним убежищем после всеобщего крушения европейских надежд в 1948 году. Может быть, я сам еще не разгадал загадки моей жизни? Это тайна Пророкства. Но те, которые знали меня в Берлине, увидят теперь, что я не изменил первым убеждениям моей юности. Я люблю припоминать последние слова великого папы Григория VII; умирая в изгнании, в Салерно, он сказал: я любил правосудие и ненавидел беззаконие, и потому умираю в ссылке!^{149*} Вот эпиграф к моей жизни, и моя эпитафия после смерти!

Г. Погодин очень наивно запрещает мне въезд в Россию. Он совершенно прав: с его точки зрения, от меня ничего путного ожидать нельзя! Если, вследствие какого-нибудь великого переворота, врата отечества отвернутся передо мною — я заблаговременно объявляю, что присоединюсь не к старой России, а к молодой, и теперь с пламенным участием простираю руку братства к молодому поколению, к любезному русскому юношеству, и хотел бы обнять их во имя будущего, во имя свободы совести и Земского собора!

Я неохотно выхожу из своего уединения, где я так счастливо живу, соединяя умственные занятия с делами христианской любви. Теперь я совершенно погружен в изучение восточных языков. Нет никакой охоты заниматься бесплодной полемикой, но не откажусь сказать слово, когда нужно. Если предшествующие строки заслужат ваше одобрение, вы можете напечатать их в вашем журнале. Не забудьте, что я почти разучился русской грамоте: если найдутся ошибки против языка, поправьте пожалуйста. До сих пор я поддерживал знание родного языка чтением Колокола и других сочинений г. Герцена и, не взирая на различие наших мнений, я обожаю его несравненный талант.

Примите уверение в моем глубоком уважении и родном сочувствии.
Вам преданный
В.Печерин»

Два года спустя Печерин сам напомнил о себе своим соотечественникам. Он был теперь свободен — впервые после многих лет. Опять, как четверть века назад, он стоял одиноко в пустыне чуждого ему мира, старый, надломленный, с сознанием роковой ошибки и с единой надеждою на избавительницу-смерть впереди. И тут, как видно, вполне ожила его душа и, содрогаясь, подвела итог проигранной жизни. Измученное сердце жаждало участия, а кругом — все чужое, ни одной родной души. В последних числах августа И.С. Аксаков, издававший тогда «День», получил в Москве письмо из Дублина с приложением длинного стихотворения и визитной карточки: Rev-d Vladimir Petcherine. Печерин писал ему: «Милостивый государь! Благородный дух вашего журнала давно привлекает мое внимание, хотя, к сожалению, я не всегда имею случай читать его. Сверх того, там часто встречается дорогое для меня имя Ф.В. Ч(иж)ова. Неизбежная судьбина — ineluctabile fatum — отделяет меня от родины, но прилагаемое стихо-

творение покажет вам, что я не забыл ни русского языка, ни русских дум. Я сам не могу себе объяснить, для чего я посылаю вам эти стихи. Это какое-то темное чувство — или просто желание переслать на родину хоть один мимолетный умирающий звук. Примите уверение и пр.».

В этих стихах Печерин рассказывал историю своей жизни.

Non! sa chaleur n'est pas toute glace!
De souvenir je le sens tressaillir...

*Demoutier**

Не погиб я средь крушенья,
Не пришел еще мой час!
И средь бурного волненья
Мой светильник не погас!
И подчас, как молнии, блещут
Мысли юности моей,
И в груди моей трепещут
Вдохновенья прежних дней.
Чудится: плывут в эфире
Звуки песней удалых,
И волшебница на лире
Мне поет о снах златых.

Рано, рано с утренней зарею
Вышел я из хижины родной,
И зеленый лес передо мною
Расцветал весеннею красотой.

На ветвях алмазами сверкали
Капли крупные росы ночной,
Дикие цветы благоухали
В пышном лоне зелени густой...

На сосне, сосне высокой
Птичка дивная сидит,
И ее живое око
Прямо в небеса глядит.
Встрепенулась и запела,
И весь лес безмолвен стал;
Птичка пела, пела, пела,
А я слушал и молчал.

Заливалась, разливалась,
Будто соловей, она,
И мне песнь ее казалась
Грустью тайною полна.
Райская была то птица

* Нет, жар души угас мой не совсем!
И вспоминая жизнь свою, я содрогаюсь...

Демутье (франц.).

И о рае песнь вела,
И туда меня певица
И манила и звала:

«Вечным солнцем там сияет
Правды незакатный свет!
Там любовь не умирает,
И разлуки вовсе нет!

О. дух, жаждою томимый,
Там тебя блаженство ждет!
Там струей неутомимой
Истины поток течет.

Там под небом вечно чистым
Будешь птичкою парить,
Как пчела, из роз душистых
Сладкий мед ты будешь пить!

Что тебе страна родная
Меж туманов и снегов?
Там — свобода золотая,
Жизнь эфирная духов!»⁷⁶

Птичка пела, пела, пела,
А я слушал — и мечтал!
Быстро жизнь моя летела:
Дни прошли — и я не знал.

И красуется, как прежде, в пышной
Зелени густой, могучий лес;
Но певицы дивной уж не слышно
И навеки след ее исчез.

Время хладною рукой сорвало
Юности венок с главы моей:
Все померкло — сердце перестало
Верить сладким песням вешних дней...

Бесприютным сиротою
Я у хижины родной
Постучался в дверь клюкою —
Мне ответил глас чужой:

«Кто ты, странник? из какого края?
Где твой Бог? и где твоя семья?..
Или, может быть, судбина злая
На изгнанье обрекла тебя?

Есть народная святыня!
Есть заветный кров родной!
И семейство, как твердыня,
Нас хранит в године злой.

Неужель на белом свете
Некому тебя обнять,
Приютить, пригреть на сердце
И тебе «люблю» сказать?»

Ах! поверь: и мне не чужды были
Ласки матери родной!
И друзья мне счастье сулили.
И звезда светила предо мной!
Но я слышал глас Красы незримой;
Этот глас меня очаровал:
Я отца, и мать, и край родимый —
Все на жертву Ей отдал!
Где ты? Где, Краса небесная?
Где? в какой стране тебя найду?
За горами ль за высокими?
За морями ль за широкими?
Всюду за тобой пойду!
Предо мной везде Она мелькала
И манила за собой;
Я за ней — она вдруг исчезала,
Будто призрак в тьме ночной.
И теперь бездомным сиротою
По миру один брошу,
Сладкого везде ищу покою —
И нигде не нахожу.

Аксаков немедленно напечатал и это письмо, и стихотворение⁷⁷, предпослав им горячо написанную передовую статью. «Мы не знаем, писал он, — найдется ли в России человек, которому глубокая скорбь этих искренних, сердечных, ароматических стихов не выворотила бы всего сердца! Это брат наш скорбит и страдает, это родная нам душа бьется, как птица в клетке, изнывает, гибнет и стонет! Он наш, наш, наш — даже под латинским фроком!» — он имеет полное право на наше участие и сострадание! Неужели нет для него возврата? Ужели поздно, поздно?.. Русь простит заблуждения, которых повод так чист и возвышен, она оценит страстную, бескорыстную жажду истины, она с любовью раскроет и примет в объятия своего заблудшего сына!»

Появление этих стихов в газете Аксакова доставило Печерину неожиданную радость получить письмо от Никитенко. Еще несколько раньше (в апреле) началась его переписка с Поярковым. С этих пор сношения с Россией становятся для Печерина главным жизненным интересом. Он был, разумеется, далек от мысли о возвращении в Россию: что он мог бы там делать? Да он и вообще уже не думал об остальных своих днях.

• Froc — клубок, ряса (*франц.*).

XVIII

1865—1875

После смерти Печерина в библиотеку Московского университета поступило, через русского генерального консула в Лондоне, несколько ящиков с его книгами и старая кожаная папка с бумагами. Здесь оказались рукописные подлинники нескольких его стихотворений, как юношеских, 30-х годов, так и позднейших, 1864—76 гг. Кроме того, здесь находятся 23 письма к Печерину Пояркова и 9 — Никитенко. Эти письма любопытны и биографическими подробностями, содержащимися в них, и указаниями на то, чем интересовался Печерин в последний период своей жизни.

Письма Пояркова обнимают время с апреля 1865 года по июнь 1873, когда, вероятно, Поярков умер. Первые письма полны подробностей о здоровье отца Печерина, жившего в Одессе, где служил в это время и Поярков. Матери Печерина, очевидно, уже не было в живых; но она была жива еще в январе 1857 г. Старик имел в Одессе собственный дом, очень ветхий, в котором жил уже лет тридцать; наш Печерин, оказывается, также когда-то был в Одессе, — может быть, по возвращении из Берлина. У старика одна нога была контужена, и он почти не двигался. Изредка он приписывает две-три строки в письме Пояркова, вроде следующих: «Милей друг Володя я болен нагою мались за меня Богу даю тебе мое благославление атец твой Сергей Печерин». При нем находился старый слуга Никифор, без сомнения, крепостной, в студенческие годы живший при молодом Печерине в Петербурге; после смерти старика, случившейся 18 августа 1866 года, Поярков поместил Никифора в городскую богадельню. Мы узнаем также, что Печерин хорошо знал Киев и Подольскую губернию; Поярков, может быть по его просьбе, сообщает ему о судьбе различных его родственников за истекшую четверть века и пр. Вообще эти письма до некоторой степени проливают свет на семейную обстановку Печерина. Так, прося его о присылке автобиографических сведений, Поярков прибавляет: «Все усилия мои пополнить скучные мои сведения о вашем прошлом словесными беседами с дедушкою (то есть отцом Печерина) не привели ни к какому результату, так как старик не только не знал, но и не подозревал значения и сущности той среды, в которую вы были поставлены воспитанием и выбор которой, сколько можно догадываться, шел вразрез намерениям вашего батюшки». В другой раз он пишет (в июле 1867 г.): «Я медлил ответом на последнее ваше письмо... Я и теперь затрудняюсь отвечать на ваше письмо, потому что вполне понимаю, какие тяжелые чувства бужу в вашем воспоминании о детской обстановке. Мне тем труднее взяться за это, потому что придется сознаться, что и конец был продолжением начала. Чтобы слова мои не показались неправдою, прилагаю при сем случайно уцелевшую у меня из груды подобных записок последних годов. Я вполне понимал главную причину оставления вами России. Картина обстановки вашей в домашнем быту

так наглядна, что не только вы бы не примерились с нею до сих пор, но даже для нас было более нежели тяжело, — для нас, где в большей части окружающее того же колорита».

Поярков часто и подробно сообщает Печерину о ходе земской, судебной и других реформ; впрочем, как видно из писем, Печерин в это время постоянно читал русские газеты. По-видимому, в своих письмах к Пояркову он говорил о «демократическом» назначении России, потому что Поярков, поклонник Каткова, отвечает ему: «Демократическое назначение нашей родины прививается что-то очень плохо... Нет, не наша задача осуществить демократизм» и т.д. Печерин также, очевидно, спрашивал, действительно ли, как можно судить по газетам, социализм в последнее время сделал большие успехи в России. Как он вообще смотрел на политический режим России и на производимые в ней реформы, показывают следующие строки из письма Пояркова к нему от 18 марта 1870 года: «Сравнивая строй управления Англии с нашим, вы останавливаетесь на мысли, что могут ли все реформы наши достигать желаемого результата при изменчивости наших законоположений...» Эту самую мысль Печерин мимоходом выразил в отрывке из своих воспоминаний; перечисляя науки, необходимые для русского народа, он доходит до юриспруденции, но останавливается: «Ну, тут, кажется, надо еще немножко подождать, когда у нас будут законы, а то из чего же тут хлопотать? Какое тут законоведение, когда вы не уверены, что вчерашний закон не будет завтра же отменен?...»

Наконец из писем Пояркова мы узнаем, что Печерин в эти годы писал свою автобиографию. Толчком к этому послужило напечатание в 1865 году в аксаковском «Дне» приведенного выше стихотворения. По словам Пояркова, оно произвело глубокое впечатление на его одесских знакомых; в обществе заговорили о Печерине: «Он наш; отдайте нам его. Он наш потому, что не изменил служению мысли даже в то время, когда свободно бродил только зверь, а человек ходил пугливо... Он — та самая краса, которой он сам так тщетно искал, но внутреннему голосу которой так искренно служил». От Пояркова требовали подробностей о жизни Печерина, и вот он решился обратиться к последнему с просьбою — в письмах частями рассказать ему свою биографию, которую Поярков намерен был затем напечатать. «Только таким путем, — писал он, — я могу удовлетворить общему желанию и только этим путем до вас дойдут в печати все отклики сочувствия к вам русских».

Печерин не заставил себя долго просить. В конце октября Поярков уже благодарит его за присылку первого автобиографического письма и стихотворений; затем последовала, очевидно, целая серия таких писем, хотя и с большими промежутками. За два года (к половине 1867 г.) Печерин довел рассказ до своего отъезда из России; продолжал ли он свои записки и дальше, по письмам Пояркова нельзя установить. С своей стороны, Поярков усердно собирал все, что имело отношение к жизни Печерина: забрал к себе все его письма к родителям, разыскал у старика юношеские письма Владимира Сергеевича и из письма от 23 марта 1836 г. узнал, в каких томах

«Московского Наблюдателя» и Плюшаровского Словаря* были напечатаны его произведения, расспрашивал Никифора об их петербургском житье и с его помощью разыскал идиллию Печерина «Руфь» без обозначения года (она неизвестна нам), наконец, нашел его портрет масляными красками, неизвестно когда присланный. «За неимением портрета моей матери, — пишет он, — ваш портрет, напоминая мне вас, напоминает мне и ту, которая учила меня любить вас и благовещать перед вашим именем. Она говорила мне: есть в нашем роде и почетные, и достаточные, но только один светильник».

Осенью 1867 г. Печерин прислал Пояркову рекомендательные письма к старым своим друзьям, Никитенко и Ф. В. Чижову. С первым Поярков виделся в декабре этого года, со вторым — в Москве летом следующего. О Чижове он писал Печерину: «Он полон самых задушевных воспоминаний о вас... Он сам хотел писать к вам и уверить вас, что в Москве есть кружок, помнящий вас и любящий вас». Чижов просил Пояркова в следующий приезд привезти имеющиеся у него материалы для биографии Печерина; писали он об этом и самому Печерину, мы не знаем, но в ноябре 1870 г. Поярков сообщает Печерину, что согласно его, Печерина, письму, отправил Чижову эти материалы: «Ф. В. Чижов просил меня прислать ему не только те письма, которые вы назначили (вероятно, автобиографические), но все, что только я имел, обещая в целости и сохранности возвратить их мне, как принадлежность моего семейства. Поэтому я привел в порядок, подшил и отправил ему все, что имел, и обещал ему сообщать также и последующие ваши письма». Дело в том, что Чижов, очевидно, собирался напечатать автобиографию Печерина в каком-либо из русских журналов. Попытки к этому делались, по-видимому, уже и раньше; по крайней мере, еще весною 1866 года Поярков, говоря в письме к Печерину о положении печати в России, прибавляет: «Петербургские редакции затруднились даже напечатать ваши воспоминания», и дальше в том же письме сообщает, что «Современник» и «Отечественные Записки» охотно берутся напечатать статью из его, Печерина, сочинений. Старания Пояркова, как видно, оказались безуспешными, и теперь за дело взялся Чижов. Действительно, в 1870 году он напечатал в «Русском Архиве» те воспоминания Печерина о баронессе Розенкампф, которые я выше не раз цитировал. Это, по-видимому, порадовало Печерина: он захотел увидеть в русской печати и остальные свои записки. В апреле 1872 г. Поярков сообщает ему содержание письма Чижова: в этом году едва ли удастся осуществить печатание, по цензурным причинам; а в августе того же года пишет: «Предположения ваши о печати, по моему мнению, очень осуществимы, и я сообщил их Федору Васильевичу». На этом, по-видимому, дело и остановилось; только еще в том же «Русском Архиве» за 1871 год появилось частное письмо Печерина о классицизме; вероятно к Чижову; мы еще вернемся к нему ниже⁷⁸.

* А. А. Плюшар издавал в 1835—1841 гг. «Энциклопедический словарь» — одну из первых русских энциклопедий [Примеч. В. В. Сапова].

Переписка Печерина с Никитенко возобновилась, как уже сказано, в 1865 году. Никитенко первый написал Печерину, прочитав его письмо и стихи в Аксаковском «Дне». 3 октября 1865 г. Печерин отвечал ему теплыми, задушевными строками. Он называл счастьем получение этого письма, называл самого Никитенко одним из своих спасителей, вспоминал свои петербургские годы и комнатку Никитенко, где собиралась «пятница» и где «развилась его судьба». «Говорите, что хотите, а есть неизбежные судьбы, от которых человеку никак нельзя оборониться. Это зародыш, который еще образуется в чреве матери и развивается в жизни по непреложным законам. Я, мне кажется, прошел через все возможные состояния человеческой жизни, через все эволюции человеческого духа; я сделал практический курс истории философии и могу сказать, что я

все испытал

И ничему не покорился.^{150*}

Осталась только непобедимая вера в ту невидимую силу, которая привела меня на запад и ведет *путем незримым* к какой-то высокой цели, к какому-то концу, где все разрешится, все уяснится и все увенчается». Он сообщает о себе, что состоит при больнице, где имеет случай «изучать все возможные формы человеческих страданий и смерти», что в досужие часы занимается восточными языками — санскритским, арабским и персидским: «это богатая руда для религии, философии и истории человечества». «Несмотря на лета, — пишет он, — сердце еще ужасно как молодо. Мне кажется, я готов на новую деятельность, на новую борьбу, если нужно. Я не изменил убеждениям моей юности».

Отныне началась между старыми друзьями довольно правильная переписка, прекратившаяся однако — неизвестно, по чьей вине — в 1869 году. Эти письма сохранились, по-видимому, все: десять — Печерина, девять — Никитенко⁷⁹. Письма Печерина необыкновенно привлекательны. В них нет ни одного резкого звука, но вместе с тем нет и тени вялости; прежняя страсть уцелела, но она углублена, просветлена. Озлобление не коснулось души Печерина; так плохое вино превращается в уксус, но крепкое вино становится с годами лишь крепче и прозрачнее.

Меньше всего сохранилось в нем злобы против России. Напротив, он любит теперь Россию с трогательной, детской нежностью. Об ней пишет чаще всего, а письма из России — отрада его существования. Он точно не верит своему счастью: «Как же мне не благодарить Бога, любезнейший Александр Васильевич? После четверти столетия я снова нахожу старых друзей. Промежуток исчез, и далекое прошедшее соединилось с настоящим», или в другой раз: «Протираю глаза и спрашиваю себя: не сон ли это: Могли я вообразить себе три года назад, что мне придется читать эти дружеские задушевные строки», и т.д. Он пишет Никитенко: «Ваша дружба связывает меня с Россиею: она постоянно напоминает мне, что я все еще русский и что русское сердце бьется в груди моей». Все русское представляет для него поглощающий интерес, — мало того: он гордится Россиею. Его письма полны любовных отзывов о русских писателях, и еще чаще —

полных патриотической гордости сообщений об успехах русской литературы на Западе: «Дым» Тургенева вышел уже во французском переводе; вероятно скоро появится и английский; «Отцы и дети» очень известны в Англии, в «Athenaeum» помещена прекрасная биография кн. Горчакова, где о нем говорится как о великом деятеле славянской цивилизации, — «вот это уж, как видите, вовсе не тон французских газет!» — вышел отличный английский перевод басен Крылова, и в «Saturday Review» по этому поводу помещена восторженная статья о Крылове, где говорится, и т.д., и т.д. — Он стал даже до некоторой степени националистом; забавно читать, как он сердится на русских немцев, которых-де мы сами избаловали: «Но теперь, благодаря Богу, многое у нас переменилось в этом отношении. Русская народность и русский язык отстояли свои права, и Тургенев берется перевести даже Гегеля на чистый русский язык, не употребляя ни одного иностранного слова». Он сам, разумеется, жадно читает все русское, что может достать. Недавно умер в Лондоне какой-то русский, и его библиотека продается с аукциона; там есть Анненковское издание Пушкина, в 11 томах, — он постарается купить его, если цена не слишком высока; и в следующем письме он сообщает, что купил, за 25 шиллингов, — «коно скреплено вашей подписью: *Печатать дозволяется. Цензор Никитенко*»; в другой раз у него вырывается вздох: «ах! прочесть бы Крылова!» Он расспрашивает Никитенко о разных новых именах русской литературы — о Минаеве и др. Его знакомый, директор ботанического сада в Дублине, ездивший в Петербург на съезд ботаников, по возвращении сообщил ему «самые свежие известия» из России, — и Печерин опять с гордостью передает его лестные отзывы о русском гостеприимстве, о Неве, об ухарских извозчиках и пр. 1868 год принес Печерину большую радость: молодой профессор санскритского языка в Дублинском университете Аткинсон (известный позднее переводчик Тургенева и др.) обратился к Печерину с просьбою помочь ему в изучении славянских наречий, «но преимущественно русского, так как — говорит он — это язык господствующего народа, которому суждены великие судьбы». «Эти русские уроки, — пишет Печерин, — были для меня источником неописанного наслаждения. Как приятно было указывать иностранцу на красоты родного слова и встречать старых знакомых, перечитывая отрывки, соединенные с дорогими воспоминаниями в былом. Меня утешает уж одна эта мысль, что вот эдак хоть косвенным образом я могу сослужить службу России. И эта служба совершенно бескорыстная, никем не признанная и ни от кого возмездия не ожидающая. Это конечно не больше, как капля воды в океане, или, может быть, это песчинка, прибавленная к гранитному зданию величия России».

Как не очерствело сердце, так и умственные интересы не заглохли в Печерине; напротив, они воскресли с новой силой, как только он, оставив монастырь, получил некоторый досуг и доступ к книгам. В ответе на запрос Никитенко о его занятиях он пишет в 1868 году: «В последние шесть лет одна мысль обладала мною: желание вознаградить за потерю прежнего времени. Грустно думать, что двадцать лучших лет моей жизни совершен-

но погибли для умственного развития. Это было своего рода самоубийство. Но я не упал духом и бодро принялся за дело. В эти шесть лет я выучился санскритскому, арабскому и персидскому языкам. Главною мою целью было исследовать религиозный вопрос во всех его направлениях. Я прочел весь Коран от доски до доски. Но с особеною любовью и терпением я изучал и изучаю священные книги индийцев. Признаюсь, наша Библия бледнеет перед этими великолепными поэмами и глубокими философскими системами. Гегель сказал, что открытие санскритского языка равносильно открытию Нового света. И он на это имел очень хорошие причины, тем более, что вся его философия есть не что иное, как повторение древних индийских систем. В санскритском языке исчерпаны все возможные изгибы человеческого слова и все возможные оттенки человеческой мысли; далее, кажется, идти невозможно. С таким же усердием я занимался системою буддистов. Вот религия, существующая более 24-х веков, считающая 450 миллионов поклонников, объемлющая все страны от Инда до Японии и от Цейлона до сибирских тундр! Ее основатель, великий реформатор древнейшей церкви брахманов, представляет в своей жизни оконченный идеал человеческого совершенства. У них в Тибете свой папа (далай-лама) и многочисленные обители монахов, где процветает средневековая ученость и где церковные обряды в самых мелких подробностях представляют поразительное сходство с обрядами католической церкви. Вот так и выходит, что история повторяется и что нет ничего нового под луною! Теперь я ожидаю выхода важного сочинения о Зороастре и его последователях, и тогда примусь за изучение зендского языка и Зендавесты и тем окончу полный курс моих религиозных исследований.

— «Однако ж, позвольте, — прерывает Мефистофель, — ведь все высказанное принадлежит просто к области воображения или к так называемому внутреннему миру; а ведь истинное-то знание, по современным понятиям, должно искать в наблюдении внешней природы, то есть в точных науках. Знаете ли вы, что, может быть, глубочайшая глубь метафизики найдется где-нибудь в химии?

— Вы правы, любезный Мефистофель! Признаюсь, я поздно спохватился. Ну, что ж? не беда! Время еще есть, пока мы живем!

После этого разговора я принялся за физиологию и ботанику...

Но как бы то ни было и во что бы то ни стало, я решился не терять ни минуты времени. Рано ли, поздно ли придется мне сойти с поприща жизни, но никто не посмеет упрекнуть меня в бездействии. «Не посрамим земли русской, но костями ляжем ту, мертвии бо срама не имут».

В апреле следующего года он пишет, что с наступлением весны часто посещает ботанический сад. Изучение растительного царства открывает ему «новый мир неистощимой жизни». «Тут жизнь кипит, бьет живым ключом, рассыпается алмазными брызгами, играет всевозможными оттенками радуги. Смерти нет, да и быть не может, потому что каждый атом в пространстве и каждая секунда времени переполнены жизнью. Жизнь везде льется через край. Что мы называем смертью, есть не что иное, как пре-

ставление, переход из одной струи в другую, перелив из одного радужного цвета в другой. Исследовать и понять жизнь, проникнуть с помощью микроскопа в самую глубину ее последних атомов — вот вся задача науки! Понять жизнь и воспроизвести ее в новых формах — вот поэзия, музыка, живопись и пр. И для каждого человека одна цель жизни — развить жизнь в самом себе по всем ее разветвлениям — физически, умственно, нравственно».

Он сам именно это делал, потому что все его научные занятия были теперь совершенно бескорыстны: он изучал языки и религии, ботанику и физиологию только для того, чтобы обогатить свой дух, «развить жизнь в самом себе», — он ничего не пишет для печати и, видимо, очень далек от этой мысли. В свободные часы по вечерам он перечитывает Диккенса, а по утрам ежедневно прочитывает две или три страницы какого-нибудь греческого автора, — недавно кончил Пиндара, теперь перечитывает «Одиссею», — и за все эти тридцать лет, говорит он, он никогда не переставал заниматься греческими классиками.

Но изучать и развивать жизнь в себе — не все; у человека есть и другая потребность — выявлять свою жизнь вовне. Честолюбия в Печерине уже не было, но эта потребность не ослабела в нем, и его мучит невозможность удовлетворять ее. Его мучит, что он замкнут в кругу своей личности, что он уже ничего не может творить в жизни, что он и доныне ничего не создал за все свои годы. Бесплодная жизнь, чужбина, одиночество — того ли он ждал? Ему были даны богатые силы, он это знает; отчего же все пошло плахом? — На это он отвечает: Судьба! Он и теперь, как тридцать лет назад, твердо убежден, что жизнь каждого человека от чрева матери предопределена его задатками, что перед этим роком надо смиряться. «Как я завидую вашей богатой и плодотворной деятельности, — пишет он Никитенко. — Мне как-то не посчастливилось — я за все брался, и ничего не кончил». Он вспоминает свои стихи из монолога поэта в «Торжестве смерти»:

Вся жизнь моя — одно желанье,
Несбывшийся надежды сон,
Или художника мечтанье.
Набросанное на картон.

«Как хорошо я угадал! Заметьте: набросанное на картон. Значит, нехватило духу или гения, чтобы окончить картину: так и остался бедный эскиз». Он любит Англию⁸⁰, часто с гордостью пишет о ее демократизме и правосудии, но ему в ней холодно и сиро. Он долго не отвечал на письмо — все откладывал со дня на день. «Даже стыдно и сказать, но главною причиной была холодная и сырья погода, отнимавшая охоту что-либо делать. Все так сидел у огня да ждал погоды, — авось завтра будет лучше! «Ah, — пишет он в другой раз, — вы не знаете, какое наслаждение здесь камин! Даже жалко расстаться с ним, когда настает весна. Тут не в том дело, чтоб греться, а так вот видеть да смотреть на огонь — и мечтать. Глядишь на эти странные

изгибы и переливы пламени, и думаешь о не менее странных переворотах жизни. Да и сама жизнь не что иное, как медленное сгорание. Воздух, которым мы дышим, — огонь всепожирающий. Надобно беспрестанно подкладывать дрова. У иных топлива достает надолго, у других запас скоро истощается, и огнь за неимением пищи умирает. Вот и вся жизнь!» Он и теперь, как в молодости, любит море. Иногда в хорошую погоду он выезжает по железной дороге за семь верст от Дублина, в Кингстоун; оттуда открывается великолепный вид на Дублинский залив и амфитеатр окружных гор; красивый вид, — но Неаполитанский залив лучше! Иногда он пишет стихи; в бессонной работе сознания упорно встают перед ним картины прошлого, стоит перед ним, не отходя, загадка его судьбы. Однажды он и Никитенко сообщает такое стихотворение, трогательно жалуясь: у меня нет ни читателей, ни слушателей; что же мне делать? вот, благо, вы попались мне на встречу, — я хватаю вас за пуговицу сюртука и заставляю слушать. — Это стихотворение, озаглавленное «Ирония судьбы», он сообщает Никитенко в марте 1868 г.; позднее — в сентябре этого года — он приделал к нему новый конец, который приведен выше.

Ирония судьбы

1

Не сбылися предсказанья
Лжепророков и друзей!
Расплылись, как дым, мечтанья
Гордой юности моей.

Может быть, чего-то ждала
Русь святая от меня:
Над главой моей сияла
Вестница золотого дня.

Но денници блеск летучий
Всем надеждам изменил;
Мрак внезапный черной тучи
Светлый день мой затемнил.

Чья ж вина? — вина ль России? —
Кто же станет мать винить?
Не хотел я гордой выи
Перед матерью склонить!

Нет! средь праздного покою
Я не мог евнухом жить:
Мне хотелось под грозою
Новый след себе пробить...

Но над жизнию земною
Грозная судьба царит,
И с улыбкой горько-злою
Наши замыслы следит.

«Вот он — рыцарь благородный!
Несравненный Дон Кихот!
Он поэт! он вождь народный!
Он отчество спасет!

Все венцы ему готовы
И науки, и любви —
Вспрянь, герой! и жизнью новой
Ветхий мир наш озари!»

И, как войско, строй за строем
Жизни призраки идут —
Все решилось кратким боем!
И знамена их падут.

И затих военный грохот,
Мрак покрыл лицо земли,
Мертво все — лишь слышен хохот
Мефистофеля вдали...

На это письмо Никитенко отвечал: «Применение к Дон Кихоту не к вам одним относится. Разве и я не был таким же Дон Кихотом? Вы были весь пыл и решимость; я был сдержаннее и, если можно так выразиться, скептическое вас». По его просьбе Печерин в 1865 году послал ему свою фотографическую карточку, и 1 ноября этого года Никитенко писал в своем дневнике: «Письмо и фотографическая карточка от Печерина из Дублина^{151*}. Сколько воспоминаний соединяется с этим милым лицом, которое, судя по портрету, мало изменилось! Та же мягкость в чертах, то же добродушие, то же умное, оригинальное выражение во всем складе лица»⁸¹. В 1869 году Никитенко прислал Печерину свои статьи о Ломоносове, Державине и Крылове; это было летом; Печерин отвечал ему в сентябре (это его последнее письмо к Никитенко). Он пишет, что читал эти статьи на даче, где провел несколько дней. — «Это чтение вначале доставляло мне большое удовольствие; но впоследствии оно навеяло на меня ужасную тоску. Эта русская словесность, о которой вы так красноречиво говорите, для меня она теперь — отголосок чего-то далекого, недоступного, невозвратного; это как будто отдаленные звуки колыбельной песни, слышанной когда-то на заре жизни, а эта заря дважды не подымается... Один одинехонек, я плыву в утлой ладье по безмерному океану. Солнце восходит, солнце заходит, звезды сменяются ночью, как часовые на карауле; а надо мною все то же небо, подо мною те же волны — берега нигде не видно, нет нигде пристани,

нигде меня не ждут, ничье сердце не бьется мне навстречу... Была у меня когда-то путеводная звезда, и мне казалось, что лучи ее сверкали любовью, а теперь выходит, что это просто метеор, фосфорная вспышка... Лет восемь назад я был в Париже, где со мною случилась забавная встреча. Иду я по quartier latin*, знаете, там, где университет, — проходит мимо меня молодой человек (вероятно студент) и, глядя на меня искоса, говорит вполголоса: «*Voilà le juif errant!*!»** Ах, злодей! ведь это ужасно как метко. Я удивляюсь его проницательности. Действительно, я до сих пор умственно странствую, как тот вечный жид, и нигде и ни на чем остановиться не могу. Вот вам итог моих мечтаний среди вековых дубов и вязов Милтоун-парка». В ответе на эти строки Никитенко, сам уже старый и тоже, по-своему, обманутый жизнью, писал Печерину — это было *его* последнее письмо, после которого их переписка прекратилась: «Грустно было мне читать те строки вашего второго письма, где вы с такою трогательною прелестью говорите о вашем печальном одиночестве. Кроме богатств ума, знания, идей, вам природа дала еще другое великое богатство — богатство благородного, любящего сердца, и я понимаю, как должно быть для вас тяжело оставаться одиноким посреди всей этой роскоши и блеска».

Я упоминал уже, что библиотека Печерина в половине 80-х годов поступила в Московский университет. Она не велика — в ней всего 183 названия. Просматривая ее каталог, нельзя догадаться, что она принадлежала католическому монаху: это — небольшая, но хорошо подобранные библиотека русского ученого-лингвиста, человека просвещенного, интересующегося современной умственной жизнью Европы и освободительным движением в России, любящего поэзию. Сочинений, касающихся католического богословия или католической церкви, здесь всего 4—5. Наибольшее число книг относится к области языковедения и классической литературы; первое место по количеству занимают грамматики, хрестоматии и словари персидского, санскритского, индусского, сирийского, еврейского,ベンгальского и особенно арабского языка, которым, очевидно, всего больше занимался Печерин в 60-х годах: среди этих книг находятся две каллиграфически написанные им самим арабские рукописи — перевод Евангелия от Матфея на 190 страницах, и другая под заглавием: *Horaе Arabicae****, 1862—63, Dublini, на 115 листках. Второе по количеству место принадлежит многочисленным изданиям греческих и римских классиков, и здесь любопытно отметить, что как раз в 60-е и 70-е годы Печерин приобретает новые, полные издания их. Третье место занимают русские книги, исключительно (если не считать посмертного издания сочинений Пушкина) 1860—80 годов. Это по преимуществу заграничные издания; если возможно, что Герцен и после 1853 года продолжал присыпать Печерину свои издания^{152*}, то «Вперед» за 1876 г. и др. Печерин выписывал,

* Латинский квартал (*франц.*).

** Вот вечный жид! (*франц.*).

*** Арабские оры (Horaе — часы, времена, *лат.*).

конечно, сам. Мы находим здесь сочинения Лермонтова, Достоевского, Писемского, «Войну и мир», «Дым» Тургенева, песни Рыбникова и пр., отдельные номера «Русского Архива», «Вестника Европы» и «Отечественных Записок» 1869—82 гг., даже Евангелие по-русски именно 1862 г. и Библию того же года. Затем надо поставить небольшое собрание европейских поэтов: Гейне, Шиллера, Гёте, Тассо, Ариосто, Данте, Камоэнса и пр., все в подлинниках, и небольшую же группу книг, особенно характерную для умонастроения Печерина в последний период его жизни: Бюхнер, Фейербах, Ренан и Штраус 1861—1876 гг.

У нас так мало сведений, по которым мы могли бы судить о мировоззрении Печерина в эти годы, что нельзя пренебречь и такими сухими статистическими данными. Еще любопытнее пометки Печерина на полях его книг.

Вот сборник посмертных статей Герцена 1870 г. Печерин подчеркивает слова Герцена о Чичерине: «он считал правительство гораздо выше общества и его стремлений», и на поле своим красивым, четким почерком приписывает: «А может быть и правда»¹⁵³. Против рассказа о революционной деятельности Бакунина в 40-х годах, где Герцен называет его одною из тех личностей, «мимо которых не проходит ни современный мир, ни история»¹⁵⁴, Печерин, подчеркнув эти слова, пишет сбоку: «А много ли об нем останется в истории?» В четвертой части «Былого и Дум» 1866 г. он подчеркивает слова Герцена (по поводу влияния Маццини на итальянский народ): «Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть»¹⁵⁵, и делает к этим словам выноску: «Не чистым разумом живут народы, а святыми преданиями, баснями — зачем же вы это забываете, Герцен?» Он подчеркивает у Гейне (1869) стих: «Meinem eignen Stern vertrauend — он сам так долго верил в свою звезду!»¹⁵⁶ Против слов: eine welterlösende Idee, он саркастически ставит два восклицательных знака; он отмечает слова: Denn nicht der Muth, sondern die Geduld regiert die Welt, и подчеркивает стих: Suchte ich die Zeit zu töten mit Gedanken^{***}¹⁵⁷. В «Кто виноват» он отмечает слова Дмитрия Яковлевича (ч. II, гл. 4), сказанные точно о нем: «Просто сердцу и уму противно согласиться в возможности того, чтобы прекрасные силы и стремления давались людям для того, чтобы они разъедали их собственную грудь», как и аналогичные две строки несколько выше¹⁵⁸.

Любопытны те отметки, которые дают понятие о том, как он теперь относился к революционному периоду своей жизни, к тем годам, когда «его звезда вела его в Париж». Он с явным сочувствием читал у Герцена едкую характеристику «хористов революции», революционной толпы, усваивающей лишь риторическую сторону движения, людей «с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд»¹⁵⁹; эти слова он подчеркнул, как в другом месте подчеркнул слова: «желание сильных страсти, громких дел», и в «Кто виноват» 1859 г. слова: «Нельзя, да и не нужно всем высту-

* Спасающая мир идея (нем.).

** Ибо не мужество, но терпение правят миром (нем.).

*** Я пытался в мыслях убить время (нем.).

пать на первый план», и ниже: «Наша жажда видных и громких общественных положений показывает великое несовершеннолетие наше»^{160*}. Очевидно, от тех лет он сохранил глубокое отвращение к французам. Его письма к Никитенко полны насмешек над «великой нацией», — особенно достается Виктору Гюго, который был одним из кумиров их молодости (Сорокин в 1834 году издал даже целую книгу своих переводов из Гюго); он несколько раз выражает радость по поводу распространения в России интереса к английской литературе и языку, что может, по его мнению, благотворно противодействовать французскому влиянию. Читая Герцена, он подчеркивает все строки, где последний бичует фразерство французов, их пустоту и любовь к эффектам. В том месте «Посмертных статей», где Герцен рассказывает о своем свидании с Ледрю-Ролленом, уверявшим его, что Париж совершенно готов и революция уже все равно что сделана^{161*} — *la révolution est faite: c'est clair comme bonjour**, Печерин против этих слов приписал: «о, шарлатан!» Он отмечает сбоку всю длинную тираду Герцена о национальном характере французов в *Alpendräcken* (X, 83) и внутри ее подчеркивает: «они идут от слов к словам», «громадные стремления без возможных средств и ясных целей», «напыщенная и дутая риторика»; в 37-й гл. «Былого и Дум» он отчеркивает такую же характеристику французов-революционеров: «Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнью из-за актерства, и жертва их все-таки была ложь»^{162*}. В одной книге, изданной в 1871 г., он к слову приписал на поле: «Deutsche Wissenschaft und deutsche Waffen haben Gott sei Dank Frankreich gedemüthigt!»**^{163*}

Чрезвычайно любопытны, как и легко себе представить, пометки Печерина на его экземпляре «Kraft und Stoff» Бюхнера (14-е изд., 1876 г.)^{164*}. Уже под первым предисловием он написал:

Mit Worten lässt sich herrlich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte lässt sich trefflich glauben,
Vom Worte darf man kein Jota rauben.^{165*}

Однако он читал эту книгу очень внимательно, многое подчеркивал и часто делал в ней пометки на полях. Там, где Бюхнер говорит о мозге, как «местопребывании души», он приписал: «Wo ist die Seele meiner Uhr?»*** Где идет речь о невозможности, с естественнонаучной точки зрения, личного бессмертия, он замечает: «Contradiccio in terminis. Was persönlich ist, ist notwendigerweise beschränkt in Raum und Zeit»****; против слов Бюхнера о том, что во время сна душа человека в подлинном смысле слова уничтожается, он пишет

* Революция совершена, это ясно как день (*франц.*).

** Немецкая наука и немецкое оружие, благодарение Богу, смирили Францию (*нем.*).

*** Где находится душа моих часов? (*нем.*).

**** Противоречие в терминах (*лат.*). Что индивидуально, то неизбежно ограничено в пространстве и времени (*нем.*)

на поле: «aber die Träume?»; в других местах он ограничивается ироническим *parla come un dio* или *Kauderwelsch*^{*}, и т.п. Но, быть может, всего характернее пометки Печерина на полях дневника, веденного во время Ватиканского собора 1870 года¹⁶⁶ знаменитым богословом Фридрихом, ярым противником курии и папских притязаний. Надо помнить, что доктрины, провозглашенные на этом соборе (непогрешимости папы и непорочного зачатия), были впервые и с большой силою выставлены как раз основателем того ордена, к которому столько лет принадлежал Печерин, и внесены им, как мы видели, в устав ордена. Пометки Печерина на дневнике Фридриха дышат горячей ненавистью ко всему папскому режиму, отвращением к своекорыстию курии и к лживости, раболепию, невежеству съехавшихся в Рим прелатов. Он с явным сочувствием отмечает все такие наблюдения Фридриха, все его доводы против провозглашения тех доктрина, и испещряет поля книги восклицаниями вроде: «ловушка!» «quid est veritas?», «le fanatique!!», «propos de vieille femme», «sic volo, sic jubeo»^{** 167} (об авторитете папы) и т.п. По поводу слов Пия IX: «Le tradizione son io», Печерин пишет: «L'état c'est moi! et après — 1789 et 1792»^{*** 168}; по поводу слов Фридриха, что католическая церковь оскудела сильными характерами, он замечает: «Zeichen des Verfalls»; когда речь заходит о богословских семинариях, он заявляет: «il est temps d'en finir avec la théologie»; упоминается ли в тексте папа Гонорий II¹⁶⁹, он характеризует его словами: «der alte Narr!»^{****} В одном месте Фридрих приводит длинную цитату из одного итальянского богословского трактата, ратовавшего за признание папской непогрешимости, и всю ее Печерин комментирует пометками вроде: «stupid child, rhetoric, che rivoluzioni ha impedito il papa?»^{*****} (автор доказывал, что усиление авторитета папы даст последнему возможность еще успешнее, чем доныне, предупреждать революции). Один немецкий епископ, принадлежавший к оппозиции, предвидя свое неизбежное отлучение, сокрушился только о том, что будет с его диоцезой¹⁷⁰, — Печерин замечает: «qu'elle aille au diable!»^{*****}. Там, где Фридрих говорит, что, может быть, нигде в христианском мире чувство права и справедливости не развито меньше, чем в Риме и папской области, Печерин пишет на поле: «verissime!»^{*****} и т.д., и т.д.

Просматривая все эти пометки, несомненно принадлежащие руке Печерина (его почерк легко узнать среди многих), конечно, никто не сказал бы, что их писал убежденный католический священник; они заставляют думать,

* Но это — грезы (нем.). Говорят как бог (*ital.*)... болтовня (нем.).

** «Что есть истина?» (лат.); фанатик (франц.); сплетни старой бабы (франц.); я так хочу, так приказываю (лат.).

*** «Предание — это я» (*ital.*); «Государство — это я! И это после 1789 и 1792» (франц.).

**** Признаки упадка (нем.) ... пришло время покончить с теологией (франц.) ... старый дурак (нем.).

***** Глупый мальчишка, риторика (англ.), каким революциям воспрепятствовал папа? (*ital.*).

***** Пусть идет к дьяволу (франц.).

***** Весьма истинно! (лат.).

что и в начале своего монашества Печерин вовсе не усвоил «всех предрассудков своего звания», как утверждал Чижов. И здесь, и в составе своей библиотеки, и в своих письмах, и в приведенных выше стихотворениях он является просто широко просвещенным человеком и идеалистом чистой воды. Можно удивляться тому, что долгие годы католической жизни и монашеской практики не искалечили его души и точно без следа прошли над ним. Но он и вообще представляет собою редкий образец неизменчивости характера — не только в основе, в своем упорном до конца искании «красы небесной», но и в мелочах: его последние стихотворения, на расстоянии 30 — 40 лет, написаны тем же размером, каким он в юности переводил шиллеровское «Желание лучшего мира», и в них, уже стариком, он беспрестанно возвращается мыслью к той звезде, о которой он когда-то писал Строгонову и Чижову.

Выше уже было упомянуто письмо Печерина 1871 г. о классическом образовании. Умное, полное изящного остроумия, написанное тем блестящим литературным языком, которым Печерин мастерски владел и спустя 35 лет после оставления России, оно любопытно, как свидетельство перемены, произошедшей во взглядах Печерина. Если Герцен в 1869 г. не написал бы тех своих строк о единоспасающей силе технологии и химии, если под конец жизни он возлагал все свои надежды на «проповедь», то Печерин, наоборот, кончил примирением с духом века, признанием ценности материального прогресса. «Ты очень метко назвал себя *аскетом труда*, — пишет он: — в этих словах заключается вся суть современного мира, да этим же разрешается вопрос между классиками и реалистами. От классицизма все как-то пахнет монастырем, душною кельею, книжным ученьем, словопрением, а от реализма веет свежий, утренний ветерок пробуждающейся новой жизни». Теперь он иначе смотрел и на Россию; он оставался при старом убеждении о практическости русского народа, но уже не осуждал ее. В своих воспоминаниях о баронессе Розенкампф, писанных в 1869 г., он спрашивал себя, почему русским не дается наука, и отвечает: потому, что правительство в своих просветительных начинаниях идет наперекор народному духу. «Для русского свежего, практического народа надо бы преподавание ограничить предметами первой необходимости, практически полезными для государственной жизни, напр., восточными языками, науками физико-математическими, медициною... Россия вместе с Соединенными Штатами начинает новый цикл в истории; так из чего же ей с особенным терпением и любовью рыться в каких-нибудь греческих, римских, вавилонских или ниневийских развалинах! Она, пожалуй, сама сумеет подготовить материалы для будущих археологов и филологов»¹⁷¹. В письме о классицизме он возвращается к этому замечанию и картиною изображает, как некий будущий филолог обессмертит себя, восстановив *ль* вместо *е* в древней рукописи Пушкина: *Vir doctissimus et illusterrimus N.N., verum reipublicae litterarum decus, eo quo pollet ingenii acumine, pro e, quod librariorum incuria irreperserat, nunc demum, Minerva afflante, л feliciter restituit. Vide Annot. ad Puchkinii Opera omnia. Editio nova et acuta, e Codice Mosquiensi vetustissimo adornata, notis variarum et indice copiosissimo instructa. Lipsiae. Apud Teufelsdreckium. A.D. 2871*¹⁷².

Характерны еще в устах католического священника следующие строки о мнимой полезности классического образования в борьбе с нигилизмом: указав на Германию, где всего больше изучали классиков и где все-таки явились и Штраус, и Фейербах, Печерин говорит: «Все это сущий вздор! Вы напрасно хлопочете, господа: ход ума человеческого затормозить нельзя. Еще прежде вас римская церковь попыталась было приостановить круговращение земли, объявивши его опасным для веры и добрых нравов; но на зло им земля все-таки вращается на своей оси... *Eppur si muove!**⁸²

XIX

Mater Misericordiae — Смерть

Печерин жил эти годы в небольшом домике на Lower Dominick Street; при нем была большая собака, всегда сопутствовавшая ему. Он слушал исповеди и посещал больных также в другой больнице, на Jewis Street, но главная его работа была в Mater Misericordiae. Эта больница вмещала тогда около 200 больных (теперь до 350). Здесь он ежедневно в 6 ч. 45 м. утра служил обедню, потом обходил палаты, утешая страждущих и причащая умирающих. Затем он возвращался к себе на Dominick Str. или шел гулять на кладбище Glasnevin, либо в ботанический сад. В 12 час. он возвращался в больницу, неся больным утешения религии; затем он шел обедать; «он уносил свои судочки в руках из больницы к себе на квартиру, как бедняк, без всякого стеснения перед людьми». В последние годы его жизни, по завещанию хозяина Gury's Hotel на Dame Str., благочестивого католика, он безвозмездно получал обед за *table d'hôte* этой гостиницы. В 6 час. он снова приходил в больницу, чтобы удовлетворить нужды больных.

«Такова была, — пишет преемник Печерина, нынешний капеллан этой больницы, — ежедневная рутина жизни бедного о. Печерина за 23 года, проведенные им в качестве капеллана при больнице Mater Misericordiae. Ему выпали на долю заботы о множестве больных во время холерной и оспенной эпидемий. Его любовь была так велика, что, как сказала мне на днях сестра-настоятельница (Sister superior), за все долгое время, что он пробыл при ней капелланом, она ни разу не слыхала от него недоброго замечания. Не в меньшей степени проявлял он и другие добродетели — смиление, благоразумие, терпение и пр. Он отличался чрезвычайным усердием и точностью в исполнении трудных обязанностей своего звания. Его обязанности были те же, каковы мои теперь, и я могу вас уверить, что они не легки. Ежедневный обход больных; исповедание больных всякого рода; духовная помощь при несчастных случаях; постоянная возможность внезапного вызова к больному; ночные посещения, ранняя обедня и т.п., и

* А все-таки она вертится (*итал.*)

т.п., — все это, хотя подлинно весьма утешительное, весьма святое, весьма духовное дело, тем не менее физически очень тяжело».

В одном из своих писем к Печерину Никитенко говорит о себе, что единственное, что он сохранил в злополучном крушении своих надежд и стремлений, это — некоторое мужество, «готовое, между прочим, без ропота пожать то, что посеял». Этим мужеством в высокой степени обладал и Печерин. Он не вел тяжбы ни с миром, который его обманул, ни со своей непонятной судьбою. Недаром Будда казался ему идеалом человеческого совершенства; он сам — пламенный дух, как бы продистиллированный через толщу двадцатилетнего иночества — стал мудр мудростью Будды: он все благословил и ничему не дает власти над собою. Он любил теперь жизнь с нежностью — и людей, и растения, — любовался ею во всех ее проявлениях, — и вместе был непостижимо чужд ей, потому что видел ее призрачность. Все, что мы знаем о нем за его последние годы, свидетельствует, что он доживал свою жизнь с ясным сознанием мира и самого себя, в кратком самоотречении. Каково было это сознание, показывают следующие его стихи, написанные несомненно в начале 70-х годов:⁸³

Прочь, о демон лучезарный,

Демон счастья и любви!

Искуситель-мир коварный.

Вспять страдальца не зови!

Хитрая сирена-младость,

Давших песен мне не пой!

Кровных уз святая сладость,

Мне не внятен голос твой!

За небесные мечтанья

Я земную жизнь отдал,

И тяжелый крест изгнанья

Добровольно я подъял.

Под венком моим терновым,

В поте бледного лица

Подвиг трудный и суровый

Совершу я до конца.

И, как жертву примиренья,

Я принесть себя готов

На алтарь Твой всесожженья,

О превечная Любовь!

Жизни бурной треволненья

Претерпев, о мой членок,

В пристани уединенья

Приютися, одинок!

Слыши! от всех концов вселенной

Голос тайный вопиет:

«Все земное — прах! все — тленно!

Все, как дым, как тень, пройдет!»

Этот вопль, повсюду слышный,

К нам из рода в род гремит:

Соломон в чертогах пышных
«Суeta сует!» гласит.

Карл, властитель величавый,
Блеском царского венца
Утомлен, от шума славы
Скрылся в келье чернеца.

Тяжкую сложив порфиру,
Саван смерти он надел. —
Взгляд прощальный бросив миру,
Заживо себя отпел.

А годы шли, наступила старость: Печерин приближался к семидесяти годам. Все дальше уходила земная жизнь, и одна за другою обрывались последние нити, связывавшие его с миром; умер отец¹⁷³, прекратилась переписка с Никитенко, умер и Поярков¹⁷⁴. Только с Чижовым Печерин, по-видимому, поддерживал еще переписку. Среди его бумаг сохранилось стихотворение, написанное 4 мая 1875 года. Оно поразит читателя. Эти строки писал человек, отрешившийся от всего тленного, поднявшийся до крайней грани, где уже нет ни раскаяния, ни желания, ни страха, — почти бесплотный дух, светлый и радостный.

Ч и ж о в у

Легкое подняв ветрило,
В утлом челноке, один,
Я плыву, о друг мой милый,
Вдоль таинственных пучин.

Волны плещут предо мною,
Солнце над главой блестит
И, качаемый волною,
Быстро мой челнок летит.

В отуманенное море
Бросил я свою ладью,
На привольи, на просторе
Беззаботно я пою:

Eh! vogue, ma nacelle!
O doux zéphyr, sois moi fidèle!
Espérance!
Confiance! —
Le refrain
Du pèlerin.*

• О, плыви мой челн!
О, сладостный зефир, будь верен мне!
Надежда!
Доверие! —
Припев
Паломника. (франц.).

Наконец, в ноябре 1877 года умер и Чижов. В кожаной папке Печерина лежит его последнее письмо к Чижову от 23 января н.ст. 1878 г. «Наконец всякому терпению есть конец, — пишет Печерин. — Скажи, ради Бога, что стало с тобою, любезный Чижов. Твое последнее письмо лежит у меня на столе. Оно от 10-го октября, а теперь по вашему 11 января, стало быть, целых три месяца. Ты никогда не оставлял меня так долго без отзыва. Что же это значит? Если ты так сильно болен, что писать не можешь, то ты мог бы уведомить меня через какое-нибудь третье лицо. Не забудь, что ты единственная и последняя нить, связывающая меня с Россиею, — если она порвется, то все прощай. В крайнем недоумении, не зная ни как, ни что, я больше писать не могу и с нетерпением буду ожидать ответа. Твой В.Печерин». — Это письмо было возвращено почтою с надписью о недоставлении за смертью адресата...

Выше я цитировал письмо нынешнего капеллана больницы *Mater Misericordiae*. Изобразив деятельность Печерина в этой больнице и распорядок его жизни, он продолжает: «О. Печерин выдержал эту жизнь 23 года, и затем вдруг с ним сделался припадок Брайтовой болезни. Пролежав около двух месяцев в больнице *Mater Misericordiae*, он решил вернуться домой на *Dominick Str.*, где и умер спустя два дня⁸⁴. Тело его было перевезено назад в больницу, куда в день его похорон стеклась огромная толпа народа. На отпевании и торжественной мессе присутствовало более 100 священников. Похоронное шествие направилось к Гласневинскому кладбищу, где ему приготовили могилу неподалеку от колоссальной круглой башни, обозначающей место успокоения одного из величайших сынов Ирландии, Даниэля О'Коннеля⁷⁵. Могила о.Печерина расположена чрезвычайно живописно, почти в тени этого великого монумента. На его могиле сестры милосердия, заведующие больницей *Mater Misericordiae*, воздвигли надгробный камень; на камне следующая надпись:

*Erected by
the Sisters of Mercy
to the memory of
The Rev. Vladimir Petcherine
23 years chaplain
to the Mater Misericordiae Hospital
Died 17-th April 1885.
Aged 79 years.
R. I. P.*

(«Поставлен сестрами милосердия в память о.Владимира Печерина, состоявшего 23 года капелланом больницы *Mater Misericordiae*. Умер 17-го апреля 1885 года, 79-ти лет. Да почнет в мире»).

«Каждый указывает на это место, как на могилу того священника, который был обвинен в сожжении Библии. Он оставил завещание, в котором изъявил волю, чтобы все его книги, бумаги, сочинения и пр. были отосланы назад на его родину; у него их было большое собрание. Свою одежду и свое

тело он завещал настоятельнице Mater Misericordiae, равно как и несколько вещей, напоминающих о его привычках, мортификациях и добродетелях. Эти вещи до сих пор хранятся у той же сестры-настоятельницы, а его книги, бумаги и пр. русский консул отправил в Россию. В его последние годы в нем выросла (grew) сильная любовь к его родине; он дорожил малейшей вещицей, которую получал из России, и часто чувствовал себя очень одиноким, живя вдали от родной страны, хотя и пользуясь уважением и почетом в своей приемной родине Ирландии, где она нашел приют среди своих единоверцев, до сих пор чтущих святую память этого великого священника».

Имя Печерина не может быть забыто в России, и его жизнь со временем несомненно будет описана лучше и полнее, нежели я мог это сделать. Ему земная слава теперь не нужна, но нам нужна память о нем. Мне же было радостью взглядываться в его образ и рассказывать о нем и о небесной мечте, за которую он отдал свою земную жизнь

Примечания

¹ Записки Ф.П. Печерина. — *Русская Старина*. 1891, декабрь. С. 587 и сл.

² Там же. С. 594, прим.

³ Рукоп. — Предлагаемая биография написана на основании неизданных материалов. Большая часть их была мне еще неизвестна, когда я писал тот очерк о Печерине, который вошел в мою «Историю Молодой России»; два больших собрания рукописей Печерина (письма, стихи и пр.) были мне доставлены только в 1909 году — из семейных бумаг гг. Телесницких и из архива Никитенко. Тайный советник А.В. Телесницкий, скончавшийся в 1905 г., был внуком сенатора Н.Я. Трегубова, женатого во втором браке на двоюродной сестре Печерина, В.Ф. Печериной.

⁴ Никитенко. 2-е изд. 1905 г. Т. II. С. 351^{176*}.

⁵ В. Григорьев. Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве. — *Русская Беседа*. 1856. Кн. III. Для дальнейшего: Ф. Фортунатов. Воспоминания о С.-Петербургском университете за 1830—33 годы. — *Русский Архив*. 1869. № 2.

⁶ Этот отрывок, посвященный воспоминаниям Печерина о баронессе Розенкампф (Эпизод из Петербургской жизни), помещен в: *Русский Архив*, 1870 г.^{177*}

⁷ Проф. Евг. Бобров. Литература и просвещение в России XIX в. Т. I. С. 111.

⁸ *Русский Архив*. 1870. Мне неизвестно, с какой рукописи печатался этот отрывок в «Русском Архиве». У меня был подлинник его, сообщенный Печериным Никитенко в 1868 году: сообразно с ним я исправляю текст «Русского Архива».

⁹ *Русский Архив*. 1879. III. С. 422 прим.

¹⁰ «История рус. интеллигентии». Т. I

¹¹ *Русская Старина*. 1900 г., февраль. С. 480.

¹² Там же. 1891 г., декабрь. С. 617.

¹³ «Взгляд на Трагедии Софокла: Антигона и Аякс». — *Сын Отечества*. Т. XVIII. 1831 г. С. 351—361.

¹⁴ Первое, на франц. языке, не издано; второе напечатано при воспоминаниях Ф.П. Печерина (дядя нашего П.) в: *Русская Старина*. 1891 г., дек., С. 617, тоже вероятно в переводе с французского.

¹⁵ Это было одно из первых представлений: в первый раз «Горе от ума» было поставлено на сцену в Петербурге 26 января этого [1831] года (см. *Русская Старина*. 1879. II. С. 343).

¹⁶ «Невский альманах» на 1832 г. и «Комета Белы» на 1833 г.

¹⁷ Напечатанные Печерином переводы из греч. антологий собраны у проф. Е. Боброва. Указ. соч. Т. IV. С. 6 и сл. Я цитирую по подлинной рукописи, в которой оказался ряд эпиграмм, не бывших в печати, таковы из приведенных в тексте первая, вторая и четвертая.

¹⁸ Никитенко. I. С. 182, 200, 208, 219, 230.

¹⁹ Никитенко. I. 206, 227, 228 и др.

²⁰ Это было то самое представление «Ричарда III» — 30 января 1833 г., с которого Печерин вернулся домой с опухшими руками. Никитенко. I. С. 229.

²¹ Это стихотв.: «Не войду я в храм, сияющий...» написано на одном листке с цитируемым здесь стих. «Черные очи»; наверху листка — изображение Невы около Адмиралтейства. Печерин позднее воспользовался им для драматической сцены, где оно и будет приведено. Так поступил он и с балладой о графине Турн: написав ее отдельно и раньше, вставил потом в «Торжество смерти».

²² Цитир. выше отрывок из мемуаров (*Русский Архив*. 1870). Цитирую по рукописи.^{178*}

²³ Цитир. отрывок из воспоминаний, рукоп.^{179*}

²⁴ Они были напечатаны в первой декабрьской книжке за 1835 г. (С. 330—363) под заглавием: «Отрывки из путешествий доктора Фуссгэнгера» [от нем. *Fussgänger* — пешеход. — В.С.].

²⁵ Точки в подлиннике.

²⁶ Точки в подлиннике

²⁷ Он разумеет здесь епископа Пизанского. См. Дантов Ад, ст. 235^{180*}. (Эти четыре стиха у Печерина — несомненная реминисценция из приведенного выше монолога Солимана: *Geboren wird der Wurm, und wird zertreten*, и т.д. — Авт.) [т. е. М.О. Гершензон. — Ред.]

²⁸ Что именно эта поэма была послана им при письме от 9/21 декабря 1833 г., видно из того, что он писал петербургским друзьям в следующем письме (28 февр. / 12 марта 1834 г.): «я давно послал к вам пакетец со всяким стихотворным вздором — это не прямо для февральского праздника, а только относится к оному...» С этим согласуется имеющаяся в некоторых рукописях пометка, что поэма написана «для февральского праздника 1834 года». В одном позднем (1868) письме к Никитенко Печерин, цитируя несколько строк из «Торжества смерти», относит их к 1834 году. — Поэма в свое время была распространена в рукописях; она напечатана в известном сборнике русских запрещенных стихотворений, изд. Огаревым.

²⁹ Оно напечатано впервые в 1906 г. в журнале *Былое*. Кн. 5.^{181*}

³⁰ Цитир. Проф. Бобровым, Изв. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Академии наук, 1907. Кн. 3. С. 253^{182*}. — Нату же тему стих. «Подводный городок» — в сборнике Огарева. С. 224.

³¹ Содержатель гостиницы в Течене рассказывал мне историю графини Турн. Молодая, прелестная 18-летняя дочь владельческого графа Турна чахнет от безнадежной любви к прекрасному графскому егерю. Отец каждый год возит ее на теплые воды — все напрасно! Она видимо умирает. Идя пешком по живописной долине и имея в виду замок Турн, я мечтал это стихотворение. Жалею, что прекрасный материал не достался в руки более искусного художника.

³² В некоторых рукописях здесь поставлено собственное имя: но оно так мудрено, что мы не решились принять это чтение в свой текст (*Прим. Н.П. Огарева*).

³³ Е. Бобров. Литература и просвещение в России XIX в. Т. IV. С. 56.

³⁴ Никитенко. I. С. 246, 266.

³⁵ Соч. Н.И. Пирогова. Т. II. Вопросы жизни. СПб., 1900. С. 409.

³⁶ Напомню, что начало следующего здесь письма изображает чувства, которые Печерин

переживал на обратном пути из Италии в Берлин (он приурочивает действие к Вене), когда он начал просыпаться от своего чудного летнего сна.

37 Профессор частного и публичного права в Петербургском университете, ум. в 1829 г.

38 Так в рукописи.

39 Эти три стих. напечатаны в дек. книжке «Московского Наблюдателя» за 1835 г., как приложение к путевым запискам Печерина, под заглавием: «Фантазии пешеходца доктора Фуссгэнгера». Даты показывают, что они написаны во время *второго* путешествия (из первого Печерин 8 ноября уже вернулся в Берлин). Стих. «Римские вечера» Печерин сообщил Никитенко в письме от 4 января 1835 г.

40 Гулянье в Неаполе, на берегу моря.

41 Для истории назначения Печерина в Моск. унив. см. Е. Бобров. Цит. соч. I. С. 124—125.

42 *Русский Архив*. 1909. Кн. 5. С. 69.

43 Н. Попов. Предание суду проф. В.С. Печерина, в «Юридич. Вестнике». 1880 г., май.

44 Архив Москов. Университета.

45 *Буслаев*. Мои воспоминания. Ч. I. Гл. IX. — Погодин, в «Вестнике Европы». 1868, авг. — День. 1865 г. № 29. — *Русский Архив*. 1871. С. 1740 (Чижов).

46 «Школьные воспоминания» М.Н. Погодина. — *Вестник Европы*. 1868, август. С. 614.

47 Т. III. СПб., 1835 (ценз. пом. — 1 дек. 1835 г.). С. 251—252, за подписью В.С. Печерина.

48 Эти, как и помещаемые ниже официальные бумаги по делу Печерина, заимствованы из архива Московского университета (1836 г. № 8, «Об увольнении преподавателей в отпуск»).

49 Никитенко. I. С. 280.

50 Об этой канцелярской процедуре см. упомянутую статью Нила Попова. — *Юридич. Вестник*. 1880 г., май. С. 77 и сл.

51 *Русская Старина*. 1887 г., апрель.

52 Письмо писано по-французски; привожу его в очень точном переводе «Русского Альбома», 1870. № 11.

53 *Русский Архив*. 1902. № 10. С. 175.

54 Никитенко. I. С. 280, под 23 декабря 1836 г.

55 Там же. С. 288, под 3 апреля 1837 г.

56 По справке, сообщенной цюрихским Городским архивом.

57 *Московские Ведомости*. 1863. № 174.

58 «О греческой эпиграмме», *Современник*. 1838. Т. XI.

59 День. 1885 г., № 29.

60 Письмо к Никитенко от 29 авг. 1842 г. — *Русская Старина*. 1899. XI. С. 367.

61 Герцен, женев. изд. Т. IX. С. 256. Никитенко. I. С. 318^{183*}.

62 1848 — очевидно, описка или опечатка. «Листок» кн. П.В. Долгорукова, от 12 сент. 1863 г.^{184*}

63 Этими сведениями я обязан любезности настоятеля редемптористского монастыря в Виттеме, R.P. J.L. Jansen'a. Вообще, все, что в этой книге говорится о католическом служении Печерина, заимствовано мною из собственных сообщений отцов редемптористов и траппистов, в особенности J.L. Jansen'a (Виттем), Will. Landers'a (Дублин), O'Laverty (Лимерик). Я навсегда сохранию сердечное воспоминание о своих сношениях с этими добрыми, искренними, трогательно-скромными людьми.

64 *Русская Старина*. 1899. XI. С. 367.

65 Никитенко. I. С. 318. — *Русская Старина*. 1899. XI. 368.

66 *Русская Старина*. 1904. IX. С. 681.

67 Это и цитируемое ниже письмо — по-франц.

68 См. ст. Zöckler'a в Realencykl. f. prot. Theologie und Kirche Herzog'a. 3 изд. 1902. Heft 107—108.

69 Он насчитывает сейчас до 150 монастырей во всех частях света.

70 По сообщению J.L. Jansen'a.

⁷¹ См. R.P. Desumont (редемпторист). Le R.P. Joseph Passerat et sous sa conduite les Rédemptoristes pendant les guerres le L'Empire. Paris. 1893. Ch. V. P. 64—85.

⁷² Selected speeches and arguments of the Right Hon. Thomas, Baron O'Hagan. Edit. by George Teeling. London, 1885. P. 245—283.

⁷³ The Bible Burning Case, a famous Irish trial, by John Muldoon, Barrister-at-Law. — The Irish Packer, № 29. april 16. 1904.

⁷⁴ Как и предшествующие два письма, оно было написано по-французски и сообщено Герценом в переводе. Соч. А.И. Герцена. Т. IX. С. 267 и сл.

⁷⁵ В черновой рукописи было:

И встают святыя тени,
И манят меня рукой.

Затем в черновой следовало:

Aх! не воскресить былого!
Мать моя во гробе спит,
Но вокруг чела святого
Луч бессмертия горит.

Дальше — так, как напечатано выше: «Чудная звезда светила» и т.д., [см. с. 463 настоящего тома].

⁷⁶ В сохранившемся подлиннике эта строфа имеет такой вид:

Что тебе твой край родимый
Средь зимы и средь цепей?
Там свобода! там любимый
Детский сон души твоей!

⁷⁷ День. 1885 г. № 29, от 2 сентября.

⁷⁸ Чижов, как видно, не вернул Пояркову, умершему около 1873 г., пачеринских бумаг, и они находятся, вероятно, среди Переписки Чижова, переданной в 1878 году его душеприказчиком, С.И. Мамонтовым, на хранение в Румянцевский музей с разрешением вскрыть не ранее сорока лет со дня смерти Чижова (ум. 14 ноября 1877 г.). Обильный материал для биографии Печерина находится также, несомненно, в Дневнике Чижова (19 книг и тетрадей), поступившем тогда же в музей на тех же условиях.

⁷⁹ Подлинники писем Печерина находятся в архиве А.В. Никитенко, письма Никитенко — в библиотеке Московского университета, в папке Печерина.

⁸⁰ «Я благословляю тот день и час, — пишет он однажды Никитенко, — когда я в первый раз вышел на английский берег (1 янв. 1845 г.). Двадцатилетним опытом я узнал, что нет на земном шаре страны, где правосудие, истина и христианская любовь господствуют в такой степени, как в Англии. Я просто благоговею перед английской конституцией. Под этим я разумею не ту конституцию, которая напечатана в Блэкстоне, но тот живой закон, который столетия начертали на сердцах великодушного английского народа. Вот этой-то конституции никак нельзя переложить на русские нравы. Никакое подражание невозможно. Каждый народ должен развиваться изнутри, из самого себя, а Петровские ухватки никуда не годятся».

⁸¹ Никитенко. Т. II. С. 256.

⁸² Русский Архив. 1871. С. 1740—43.

⁸³ Русская Старина. 1876, июль. С. 454. 185*

⁸⁴ В последние минуты при нем находился один из его друзей-редемптористов, rev-d P. Harbison [преподобный отец Харбисон — англ.].

Комментарии

Печатается по тексту: Гершензон М. Жизнь В.С. Печерина. М., 1910. В сокращенном виде очерк о Печерине первоначально был опубликован в качестве второй главы книги М.О. Гершензона «История Молодой России» (М., 1908; 2-е изд. — М.; Пг., 1923).

Комментарии составлены В.В. Саповым.

* *

*

Гершензон подготовил к печати и «Замогильные записки» Печерина, изданные уже после смерти составителя в 1932 г. под редакцией, с введением и примечаниями [главным образом подстрочными переводами] Л.Б. Каменева (Кооперативное издательство «Мир»).

Полное издание «Замогильных записок» появилось сравнительно недавно — в сборнике «Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников». М., 1989. С. 148—311 (с обстоятельными комментариями С.Л. Чернова). Параллельно записи — под названием «Оправдание моей жизни. Памятные записки» — печатались в журнале «Наше наследие» (1989 №№ I-III; публикация П. Горелова).

Из работ, посвященных В.С. Печерину и написанных уже после Гершензона, укажем следующие:

Сабуров А.А. Из биографии Печерина // Литературное наследство. М., 1941. Т. 41—42;

Переписка В.С. Печерина с А.И. Герценом и Н.П. Огаревым (публикация А.А. Сабурова) // Там же. М., 1955. Т. 62;

Симонова И.А. «Два полюса магнита...» (Космополит В.С. Печерин и славянофил Ф.В. Чижков) // Встречи с историей. Очерки. Статьи. Публикации. М., 1990. Вып. 3.

Мильдон В.И. Из ниоткуда в никуда (К метабиографии В.С. Печерина) // Лица. Биографический альманах. 4. М.; СПб., 1994.

^{1*} Обермундшенк (букв.: старший виночерпий) — придворное звание 2-го класса (высшим был первый класс), которое по Табели о рангах соответствовало военному чину генерала и гражданскому чину действительного статского советника.

^{2*} О детских годах В.С. Печерина см. в его «Замогильных записках» (Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. С. 148—159 (далее: Замогильные записки).

^{3*} Савва Федосеевич Поярков (ум. 1873) — племянник В.С. Печерина, живший в Одессе и состоявший с ним в переписке. Печерин регулярно посыпал С.Ф. Пояркову «отрывки» о своей жизни, которые впоследствии вошли в состав «Замогильных записок». Перечень писем С.Ф. Пояркова к В.С. Печерину, написанных в период с 1865 по 1873, см.: Герцен. Огарев и их окружение. Рукописи, переписка и документы. (Бюллетени Государственного Литературного музея. № 5). М., 1940. С. 255.

^{4*} См.: Станкевич А. Т.Н. Грановский. Биографический очерк // Т.Н. Грановский. Переписка. М., 1887. Т. I.

^{5*} Былое и думы. Ч. I. Гл. 3 // Герцен А.И. Сочинения в 9-ти тт. М., 1956. Т. 4. С. 63—64.

^{6*} Павел Александрович Строганов (Строгонов) (1772—1817), дипломат и политический деятель, во время Отечественной войны 1812 года генерал-адъютант при императоре Александре I. Его отец, Александр Сергеевич Строганов в 80-х годах XVIII в. был русским послом во Франции. По рассказу Н.И. Гречи, находясь во Франции, «принял он в гувернеры к единственному сыну своему, гр. Павлу Александровичу, якобинца [Жильбера] Ромма (Romme), который впоследствии погиб, пытаясь восстановить робеспьеровское правление. Молодой граф пропитан был революционными правилами, но честная, добрая душа его со временем все переработала: он был самым усердным и ревностным русским патриотом» (Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 323—324). См. также: [Вел. кн.] Николай Михайлович. Граф П.А. Строганов. Т. 1—3. СПб., 1903.

7* Замогильные записки. С. 166.

8* Василий Васильевич Григорьев (1816—1881) — соученик Т.Н. Грановского по Петербургскому университету и один из его ближайших друзей; впоследствии — известный учёный-востоковед. В своих воспоминаниях о Грановском стремился скомпрометировать его и как учёного, и как общественного деятеля.

9* Репетития (от лат. *repetitio* — повторение) — то же, что в наше время «семинарское занятие».

10* Христиан Фридрих (Федор Богданович) Грееф (1780—1851) — профессор греческого и латинского языков Петербургского университета, академик (с 1820 г.).

11* Сергей Семенович Уваров (1786—1855) — в 1818—1855 гг. президент Академии Наук, в 1833—1849 гг. министр народного просвещения. Извещая попечителей учебных округов о вступлении в должность министра, Уваров огласил свою знаменитую формулу: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности».

12* Замогильные записки. С. 164.

13* Константин Матвеевич Бороздин (1781—1848) — археолог и историк, тайный советник, сенатор (с 1833 г.); в 1826—1833 гг. — попечитель Петербургского учебного округа.

14* Густав Андреевич Розенкампф (1764—1832) — юрист; с 1803 г. служил в Комиссии по составлению законов, в 1822 г. уволен в отставку как противник М.М. Сперанского, после чего занялся литературным трудом. Женат на Марии Франциске Вильгельмине Бларамберг (1780—1834).

15* Кормчие книги (Номоканон) — византийский сборник канонического права. Г.А. Розенкампф составил «Обозрение Кормчей книги в историческом виде» (М., 1829: 2-е изд. СПб., 1839). В.С. Печерин принимал участие в работе над 42-ой главой Кормчей книги.

16* Иоанн III Схоластик — константинопольский патриарх (565—577 гг.), до принятия духовного сана был адвокатом («схоластиком»). Выдающийся церковный законовед, автор двух сборников: «Свод церковных правил, разделенный на 50 титулов» и «Постановления из божественных новелл блаженной памяти Юстиниана» (этот сборник служит дополнением к первому).

17* Юстиниан I (482—565) — император Восточной Римской империи с 527 г., по повелению которого была произведена кодификация действовавшего римского права (*Corpus iuris civilis*, 529 г.).

18* Имеется в виду картина, изображающая католического святого Франциска Ассизского (1182—1226).

19* Цитата из «Божественной комедии» Данте (Ад. V. 121—123) в переводе М. Лозинского.

20* Сокращенное название французской ежедневной газеты «Journal des Débates politiques et littéraires» («Газета политических и литературных дебатов»), издававшейся в Париже в 1789—1864 гг.

21* Имеются в виду события польского восстания 1830—1831 гг., в начале которых русские терпели неудачи.

22* Цитата из Горация (Оды, IV, 4, 65) в переводе Н. Шатерникова.

23* Александр Христофорович Востоков (1781—1864) — филолог, академик (с 1841 г.), основоположник отечественной школы славяноведения.

24* Замогильные записки. С. 164—165.

25* Там же. С. 166. «Годы учения Вильгельма Мейстера» — название романа И.В. Гёте.

26* Имеется в виду Июльская революция 1830 г. во Франции.

27* Карл X (1757—1836) — французский король в 1824—1830 гг.

28* Замогильные записки. С. 164.

29* См.: Овсянико-Куликовский Д.Н. История русской интеллигенции. СПб., 1914. Т. I (4-е изд.). С. 240—318 (главы VI: «От двадцатых до сороковых годов» и VII: «Белинский»).

30* Былое и думы. Ч. 4. Гл. XXV // А.И. Герцен. Сочинения в 9-ти тт. М., 1956. Т. 5. С. 5—43.

31* Там же. Т. 4. С. 83.

32* «Резиньяция» (или «Смирение», «Отречение») — стихотворение Ф. Шиллера, написанное в 1784 г. («И я в Аркадии родился...»). См.: Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7-ми тт. М., 1955. Т. I. С. 146—148 (перевод Н. Чуковского); Шиллер Ф. Собрание сочинений в 8-ми тт. М.-Л., 1937. Т. I. С. 50—53 (перевод А. Кочеткова).

33* В письме к Н.В. Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г. Белинский писал о своем восприятии Шиллера: «Его «Разбойники» и «Коварство и любовь», вкупе с «Фиесколо» — этим произведением немецкого Гюго, — наложили на меня дикую вражду с общественным порядком во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе» (Белинский В.Г. Избранные письма. М., 1955. Т. I. С. 244).

34* Цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Элевзинский праздник» (1798). См.: Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7-ми тт. М., 1955. Т. I. С. 295 (перевод В.А. Жуковского). Церера — римское имя Деметры, греческой богини плодородия, которая чтилась как созидательница гражданственности, правового общества; в честь нее ежегодно спровождался праздник, названный по месту проведения.

35* Текла, Тэкла — юная героиня драмы Ф. Шиллера «Валленштейн». См. также его стихотворение «Тэкла» (Собрание сочинений в 7-ми тт. М., 1955. Т. I. С. 347—348).

36* Русские переводы см.: Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7-ми тт. М., 1955. Т. I. С. 322—323, 222, 229, 211—212.

37* Имеется в виду рассказ В.М. Гаршина «Красный цветок» (1883), в котором в аллегорической форме изображена революционная жертвенность народника 70-х годов прошлого века.

38* По преданию, эти слова произнес Юлий Цезарь, желая подбодрить кормчего, испугавшегося бури и пытавшегося свернуть судно с ранее намеченного курса.

Эпизод из жизни Герцена рассказан им в XIII-й главе второй части «Былого и дум». См.: Герцен А.И. Сочинения в 9-ти тт. М., 1956. Т. 4. С. 224.

39* Василий Петрович Боткин (1811/1812—1869) — критик и публицист, член кружка Н.В. Станкевича.

40* Кузина В.С. Печерина — Вера Федоровна Трегубова; сохранились рукописные копии восьми писем Печерина к ней, написанных в 1831—1845 гг. См.: Герцен, Огарев и их окружение. Рукописи, переписка и документы. М., 1940. С. 253.

41* Имеются в виду главным образом письма Гоголя к А.С. Данилевскому 1831—1833 гг. См.: Переписка Н.В. Гоголя. М., 1988. Т. I. С. 38—51.

42* Николай Иванович Греч (1787—1867) — журналист, издатель и мемуарист.

43* К.Н. Батюшков и С.С. Уваров (см. прим. 11*) в 1820 г. выпустили совместно написанную брошюру «О греческой антологии».

44* Мелеагр из Гадары (ок. 140—70 до н.э.) — древнегреческий поэт и философ-киник, автор несохранившихся сатир и эпиграмм, вошедших в коллективный сборник «Stephanos» («Венок»).

45* Федор Васильевич Чижов (1811—1877) — ближайший друг Печерина, окончивший физико-математический факультет Петербургского университета, но в 1840 г. бросивший начатое поприще. После заграничного путешествия, продолжавшегося без малого семь лет (1840—1847), Чижов возвратился в Россию, был арестован и после двухнедельного содержания в Петропавловской крепости сослан в Киевскую губернию, где он занимался шелководством. В 1857 г. приехал в Москву, некоторое время занимался издательской деятельностью, но вскоре оставил ее и стал одним из учредителей железнодорожных компаний. Идеино он был близок славянофилам, входил в состав Московского славянского благотворительного общества.

46* «Европеец» — журнал, издававшийся И.В. Киреевским в 1832 г. После выхода в свет первого номера журнал был запрещен. О причинах запрета см.: Фризман Л.Г. Иван Киреевский и его журнал «Европеец» // «Европеец». Журнал И.В. Киреевского. 1832. М., 1989. С. 385—479.

47* В 40-х годах — сотрудник «Отечественных записок» при В.Г. Белинском.

48* Проспер-Жолио Кребийон (1674—1762) — французский драматург; его трагедия «Атре́й и Фиест» была переведена на русский язык и поставлена в Петербурге уже в 1811 г.

49* Стиль — бронзовый стержень, заостренный конец которого использовался для нанесения текста на дощечку, покрытую воском; противоположный конец стиля делался плоским, чтобы стирать написанное.

50* Архитриклиний — здесь: распорядитель пира («триклинием» называлась столовая комната в доме римлян).

Хораг (правильнее: хорег) — состоятельный афинский гражданин, бравший на себя расходы по постановке драмы, содержанию актеров и хора, а также решавший технические и организационные вопросы.

51* «Сын Отечества» — исторический, литературный и политический журнал, основанный Н.И. Гречем и издававшийся в Петербурге в 1812—1844, 1847—1855 гг.

52* Замогильные записки. С. 167.

53* Николай Иванович Пирогов (1810—1881) — ученый, врач, педагог и общественный деятель; в 1828—1832 гг., по окончании Московского университета, готовился к профессуре при Дерптском (ныне Тартуском) университете.

Петр Григорьевич Редкин (1808—1891) — теоретик права, историк философии, педагог. С 1830 г. в Берлинском университете слушал лекции Гегеля, с которым был знаком лично.

Кутторга Михаил Семенович (1809—1886) — историк, специалист по истории Древней Греции; окончил Петербургский университет и Дерптский профессорский институт.

54* Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда (I, 13). В рус. переводе В. Левика:

Прости, прости! Всё крепнет шквал,
Все выше вал встает,
И берег Англии пропал
Среди кипящих вод

(Байрон Дж.Г. Собрание сочинений в 4-х тт. М., 1984. Т. I. С. 142.

55* Изида, Исида — в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, мореплавания, покровительница умерших; по преданию, под покровом Исиды скрывалась Истина, увидеть которую смертному было не дано. На этот сюжет написано стихотворение Ф. Шиллера «Санское изваяние под покрывалом» (1795). См.: Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7-ми тт. М., 1955. Т. I. С. 194—197.

56* То есть Жанна д'Арк — героиня драмы Шиллера «Орлеанская дева».

57* Генрих Стеффенс (1773—1845) — немецкий естествоиспытатель, философ и литератор, норвежец по происхождению; К. Маркс, учившийся в Берлинском университете в 1836—1841 гг., слушал у Стеффенса курс антропологии.

58* Леопольд Геннинг (1791—1866) — немецкий философ, ученик Гегеля, профессор Берлинского университета (с 1825 г.), в котором читал курсы по философии Гегеля, главным образом философии права.

59* Карл Людвиг Михелет (1801—1893) — немецкий философ, правый гегельянец.

60* Эдуард Ганс (1798—1839) — немецкий юрист и философ-гегельянец; в Берлинском университете читал курс уголовного права и местного прусского права.

61* Август Бек (1785—1867) — немецкий филолог и историк Древней Греции, основатель греческой эпиграфики, профессор Берлинского университета с 1811 г.

62* Стrophe из стихотворения П.-Ж. Беранже «Безумцы»:

Ждет Идея, как чистая дева,
Кто возложит невесте венец.
«Прячься», — робко ей шепчет мудрец,
А глупцы уж трепещут от гнева.
Но безумец-жених к ней грядет

По полуночи, духом свободный,
И союз их — свой плод первородный —
Человечеству счастье дает.
(Перевод В. Курочкина).

63* Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Демон» (1823):

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия...

(Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10-ти тт. М., 1981. Т. I. С. 321).

64* Цитата из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»:

Но, боже, как играли страсти
Его послушно душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирили?
Они проснутся: погоди.

65* Эти строки в стихах Шиллера не найдены.

66* Имеется в виду опера-водевиль А.А. Шаховского «Ломоносов, или рекрут-стихотворец», премьера которой состоялась в 1814 г. Об «огромном влиянии» на него этого водевиля В.С. Печерин пишет в «Замогильных записках» (С. 196).

Александр Александрович Шаховской (1777—1846), князь — драматург, режиссер и театральный педагог; в его «водевиле» рассказывается об известном эпизоде из жизни М.В. Ломоносова: в 1740 г. на пути в Дюссельдорф Ломоносова завербовали (предварительно напоив) в прусскую королевскую армию, откуда ему, к счастью, удалось бежать. Подробнее см.: Морозов А. Ломоносов. М., 1965. С. 174—176.

67* Фердинанд Антонолини (ум. 1824) — итальянский композитор, живший и работавший в России. По словам знаточного его современника, «Антонолини известен талантом своим в музыкальных композициях и, сверх того, очень радушен, весел и словоохотлив — настоящий итальянский маэстро» (Жихарев С.П. Записки современника. Воспоминания старого театра. Л., 1989. Т. 2. С. 171).

68* Непонятно, о каком из братьев Баршевых идет здесь речь. Сергей Иванович Баршев (1808—1882) впоследствии стал профессором уголовного права и полицейских законов Московского университета, в 1863—1870 гг. был ректором. Его брат Яков Иванович (1807—1894) — профессор полицейского и уголовного права Александровского лицея и Петербургского университета, тайный советник при кодификационном отделе Государственно-го совета. В 1833—1835 гг. они оба были товарищами Печерина по студенческой командировке в Берлин. См.: Литературное наследство. Т. 62: Герцен и Огарев. II. М., 1955. С. 483—484.

69* Имеется в виду эпизод, о котором Рассо рассказывает в 4-й книге «Исповеди» (1731—1732): «Во время моей прогулки в Веве, идя по прелестному берегу, я отдавался самой сладкой меланхолии; мое сердце жарко стремилось к невинному блаженству; я чувствовал в себе умиление; я вздыхал и плакал, как ребенок. Сколько раз, останавливаясь, чтобы плакать вволю, я смотрел, как мои слезы капали в воду... Я охотно сказал бы людям, обладающим вкусом и чувствительностью: «Отправляйтесь в Веве, осмотрите его окрестности, покатайтесь по озеру и скажите, не создала ли природа эти чудные места для таких людей, как Юлия, Клара и Сен-Пре; однако, не ищите их там!» (Рассо Ж.-Ж. Исповедь. СПб., 1901. С. 123). «Юлия, или Новая Элоиза» — роман Ж.-Ж. Рассо (1761).

70* Шильонский замок, воспетый Байроном в поэме «Шильонский узник», расположен на Женевском озере между Клараном и Вильнёвом: возведен в XII-XIII вв. Гершензон приводит цитату из «Шильонского узника» в переводе В. Жуковского:

На лоне вод стоит Шильон;
Там в подземелье семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет...

(Байрон Дж. Г. Собрание сочинений в 4-х тт. М., 1981. Т. 3. С. 175).

71* Щадить себя я должен? Искру силы,
Которая в геройских жилах тлеет —
В ленивой жизни тихо погасить, —
Таков великий жребий всех героев!
Гордится червь, и давится ногою,
Следа своей он жизни не оставит
И жалкого существованья!
Но где герой, где повелитель всходит,
Там в пламени его провозглашает
Его приход оцепенелый свет!
Вся жизнь ему дана для жертвы...
Когда же смерть вонтиеля сражает,
То тысячи таинственных голов
Должна природа верой возбудить,
Да ведает его прискорбный век,
Что феникс дивный в пламень упадает!

(Црини. Трагедия в 5-ти действиях, сочинения Кернера. Переведена В. Мордвиновым. С.-Петербург, 1847. С. 3—4: действие 1, выход 2).

Теодор Кернер (1791—1813) — немецкий писатель, участник освободительной войны 1813 г. против Наполеона; его трагедия «Црини» (1813) проникнута ненавистью к оккупантам и, может быть, поэтому пользовалась большим успехом у читателей и зрителей. Главный герой трагедии — венгерский полководец Црини (правильно: Мицлош Зрини; ок. 1508—1566) в 1566 г. возглавил оборону венгерской крепости Сигетвар от войск турецкого султана Сулеймана II, направляющегося походом на Вену, и погиб при попытке вывести гарнизон из разрушенной крепости.

В.Г. Белинский написал по поводу перевода трагедии Кернера (да и по поводу оригинала) довольно суровую рецензию. «...Эта драма, — писал он, — от первой страницы до последней показалась нам очень скучною. Действия в ней нет никакого, да и не могло быть, как это мы сейчас докажем, изложивши ее содержание, что можно сделать в нескольких словах. Солиман, предчувствя, что ему недолго жить, хочетувековечить свою память последним и самым великим подвигом, который превзошел бы все его прежние. Он решается идти на Вену с страшным войском: но узнавши, что в Сигете заперся герой Црини, хочет сперва взять эту неприступную крепость. Напрасно представляют ему, что это только отнимет у него войско и людей и даст германскому императору возможность собраться с собственными силами и получить помощь со всей Европы. Войска двинулись к Сигету. Жена и дочь Црини вместе с ним. Последняя любит Лоренца Юранича; молодой человек клянется отцу заслужить руку его дочери и выходит из крепости с отрядом навстречу туркам. Отряд возвращается в крепость с боатою добычею, положивши на месте 4 000 турок. Разумеется, Юранич отличился больше всех и представал своей невесте с турецким знаменем в руках, которое он добыл в бою. Действие, как видите, происходит за сценой, а на сцене только говорят о нем. Да уж как говорят! Сам Солиман не уступит в болтовне никакой куме на свете! Монологи Црини — семимильные. Герой этот является у Кернера добренъким немецким папашей, и семейные сцены между им, женюю, дочерью и ее женихом не столько умилительны, сколько приторно сладкие, любовные сцены между Юраничем и Еленой, столько же длинные, сколько и скучные. Црини получил от императора приказ погибнуть вместе с крепостью, но не сдаваться; он понял, что

подкрепления ему не будет, потому что чем неудачнее и гибельнее для турок были попытки их приступов к крепости, тем большее возрастали упорство и ярость Солимана. Это положение, в связи с любовью Елены и Лоренца, составляет трагический фон драмы Кернера. Оканчивается тем, что турки берут крепость; Лоренц закалывает Елену по ее просьбе, а потом, подобно Црини, без лат идет на верную смерть в последнем бою. Между тем Ева, жена Црини, сидит в главной башне крепости с зажженным фитилем; увидавши, что муж и сын ее пали, поджигает порох, — и победители вместе с побежденными взлетают на воздух». В общем, заканчивает свой не в меру суровый суд Белинский (что отчасти объясняется и качеством перевода), — «посредственные произведения всегда находят себе переводчиков» (Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М., 1956. Т. X. С. 382—383, 385).

^{72*} «Тему Петербурга» в творчестве Печерина проанализировал Н.П. Анциферов, по словам которого Печерин «воспринял проблему борьбы творящего гения города с безликими стихиями в форме окончательного осуждения Петербурга. Для него прежде всего этот город — порождение деспотизма, стоивший тысячи жизней никому неведомых рабочих. Город не оправдал своего торжества над стихиями. Рожденный на костях, он стал преступным городом оков, крови и смрада, возглавляющим тираническую империю. Стихи стали у Печерина орудием карающей Немезиды. Правда с ними. Поднимаются ветры буйные... С ветрами идут юноши, погубленные Петербургом, которых этот демон истребил порохом, кинжалом, ядом. За ними солдаты, принесенные в жертву империализму... И погибающее в волнах население присоединяется к этим проклятиям, отрекаясь от родного города... Последний прилив моря — город исчезает. Являются все народы, прошедшие, настоящие и будущие, и поклоняются Немезиде...

В образе Петербурга проклятию предается весь период русского империализма, символом которого была Северная Пальмира» (Анциферов Н.П. Душа Петербурга. СПб., 1922. С. 93—94). Анциферову принадлежит по-видимому и самая глубокая образно-символическая характеристика Печерина: «Агасфер русской интеллигенции» (Там же. С. 92).

^{73*} Поликрат Самосский (ум. 522 до н.э.) был торговцем, который используя недовольство народа правлением знати в 538 г. установил тираннию на острове Самосе. Ему были присущи эгоизм, энергия, страсть к завоеваниям, щедрость, пристрастие к роскоши, а также любовь к искусству и науке. У него при дворе жили Анакреон, Ивик, Демокед и Пифагор. Благодаря этим качествам он, с одной стороны, походил на персидского despota, а с другой — на греческого философа. Поликрат содействовал развитию экономики, вел обширные строительные работы (сооружение молов и волнорезов в гавани, водопровод, храм Геры). После того как Камбис завоевал Египет, он расторгнул ранее заключенный союз с египетским царем, направленным против персов. Поликрат был коварно убит по приказу персидского сатрапа Оройта. Известная баллада Шиллера «Перстень Поликрата» написана по мотивам истории правления Поликрата, изложенной Геродотом (Словарь античности. М., 1992. С. 444—445).

^{74*} Поэма Печерина «Триумф смерти» впервые была опубликована А.И. Герценом в Шестой книге «Полярной Звезды на 1861 г.» (с. 172—192) под названием «Pot-Pourri или Чего хочешь, того просишь» (Для Февральского праздника 1834.).

^{75*} Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Л., 1974. Т. 10. С. 10; см. также комментарии: Там же. Т. 12. С. 189, 278—279.

^{76*} См.: Герцен А.И. Сочинения в 9-ти тт. М., 1957. Т. 6. С. 391—392.

^{77*} Родольф Крейцер (1766—1831) — французский скрипач, композитор и дирижер; Л. Бетховен, высоко ценивший его игру, посвятил ему сонату для скрипки и фортепиано («Крейцерова соната»).

^{78*} Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) — поэт, романист и драматург, автор казенно-патриотических драм. Отрицательный отзыв о его драме «Рука всевышнего отечество спасла» написал Н.А. Полевой. После закрытия «Московского телеграфа» в обеих столицах была популярна анонимная эпиграмма:

Рука в се в ше го три чуда совершила:

Отечество спасла,

Поэту ход дала

И Полевого удушила.

(Цит. по: *Вайро В.Э., Гильельсон М.И.* Сквозь «умственные плотины». Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 163.)

79* Об этом подробно рассказывает А.И. Герцен — см.: «Былое и думы». Ч. 2. Гл. VIII-IX // Герцен А.И. Сочинения в 9-ти тт. М., 1956. Т. 4. С. 171—185.

80* Макс Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта; 1806—1856) — немецкий философ, теоретик индивидуалистического анархизма, автор книги «Единственный и его собственность» (1844).

81* Ср. перевод Б.В. Гиммельфарба и М.Л. Гохшиллера: «Свободой в с е б е может быть только вся свобода. Кусок свободы не есть С о б о д а» (*Штирнер М.* Единственный и его собственность. Харьков, 1994. С. 149).

82* «Мы стоим у порога новой эпохи. Мир заботился до сих пор лишь о выгодах жизни, о ж и з н и... Но как использовать жизнь? Пользуясь жизнью, тем самым пользуются собой, живым, потребляя и уничтожая ее и себя. Н а с л а ж д е н и е ж и з н ь ю — вот «цель жизни» (*Там же*. С. 308).

83* Марк Порций Катон Старший (234—149 до н.э.) — римский политический деятель, «жил мыслю» о том, что «Карфаген должен быть разрушен».

84* Больвер — традиционное в России XIX в. написание фамилии английского писателя Эдуарда Джорджа Бульвера-Литтона (1803—1873), автора исторических романов, написанных в романтическом духе.

85* Имеются в виду «Анналы» К. Тацита.

86* Впоследствии Печерин признавался, что написал (в Берлине) «эти безумные строки» «в припадке байронизма». И далее: «Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение! Вот молодой человек 18 лет, с дарованиями, с высокими стремлениями, с жаждою знания, и вот он послан на заточение в Комисаровскую пустыню, один, без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни, без малейшей надежды в будущем! Ужасное положение!» (*Замогильные записки*. С. 161).

87* Монте-Пинчо — название одного из холмов, на которых расположен Рим; с него открывается вид на часть города с собором Св. Петра.

88* Александр Людвигович Штиглиц — петербургский банкир.

89* По поводу «Ульриких» близкий друг Гершензона Б.А. Кистяковский писал ему из Берлина 17/30 марта 1910 г.: «Еще в воскресенье, «залпом», с увлечением прочитал Вашего Печерина; жизнь его произвела на меня сильнейшее впечатление...

Кстати, относительно одной технической подробности в Ваших книгах: в каждой из них есть одна и та же черта, которая, может быть, не только излишна, но и вредна. Я имею в виду чересчур реалистические эпизоды в жизни Ваших «героев», которые Вы старательно протоколируете. У Чаадаева Вы открыли геморрой и, кажется, хроническое расстройство желудка, Киреевский, если память мне не изменяет, тоже страдает желудком, наконец, у Печерина Вы отмечаете страсть к «плотно-округленным ляжкам» Ульрики, которую он «хотел бы взять на содержание». У Вашего читателя, который знакомится с просветленным образом Печерина последних десятилетий его жизни, невольно может мелькнуть мысль: «Это тот самый Печерин, который когда-то хотел взять на содержание Ульрику с ее плотно...» и т.д. Вы скажете, что в этом будет виновата «испорченная фантазия» читателя. Может быть. Но разве суггестивная сила писателя, выдвинувшего этот чересчур «яркий» факт, здесь не причем? Должен ли этот факт быть Leitmotiv'ом в биографии Печерина? Имел ли он какое-либо значение для Печерина последних десятилетий? В жизни его отделимы три десятилетия, в биографии 100 страниц и 2—3 часа чтения» (Цит. по: *Кистяковский Б.А.* Философия и социология права. СПб., 1998. С. 691—692).

90* Дэвид Гаррик (1717—1779) — английский актер, театральный деятель, драматург и критик. Дебютировал в 1741 г., с 1742 по 1776 г. в театре «Друри-Лейн» сыграл все ведущие трагические роли; «вернулся» на сцену Шекспира.

Франсуа-Жозеф Тальма (1763—1826) — французский трагический актер; в 1791 г. основал «Театр Республики», выступал в пьесах якобинского содержания. Яркий представитель революционного классицизма

91* В начале третьей книги «Государства» Платон, излагая «роль поэзии в воспитании стражей», обосновывает необходимость строгого государственного контроля над поэзией и искусством вообще. При этом выясняется, что Гомер в «совершенном» государстве — недопустим. См.: Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. М., 1994. Т. 3. С. 149—157.

92* Лаура — возлюбленная Ф. Петрарки; Элоиза — возлюбленная П. Абеляра (хотя в данном случае возможно, что речь идет о Юлии, или «новой Элоизе» — героине романа Ж.-Ж. Руссо) оба имени являются нарицательными для обозначения возвышенной и чистой любви.

93* Замогильные записки. С. 168.

94* См.: *Фукидид*. История. Л., 1981. С. 79—84. В своей речи Перикл сказал: «...Так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством... Город наш — школа всей Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных условиях» (*Там же*. С. 80—81).

95* Юрий Федорович Самарин (1819—1876) — общественный деятель и публицист, славянофил.

Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — историк, писатель и журналист, сын крепостного, отпущеного на волю в 1806 г.; в 1826—1844 гг. профессор Московского университета, с 1841 — академик Петербургской АН.

96* Дмитрий Александрович Валуев (1820—1845) — историк и общественный деятель, славянофил; в 1843 г. основал и редактировал журнал «Библиотека для воспитания».

Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886) — публицист, поэт, общественный деятель, славянофил; сын писателя С.Т. Аксакова, зять Ф.И. Тютчева.

97* Петр Матвеевич Терновский (1798—1874) — протоиерей, профессор богословия и церковной истории; Эдуард Николаевич Геринг — преподаватель немецкого языка; Михаил Степанович Гастев (1801—1883) — преподаватель вспомогательных исторических дисциплин (геральдики, исторической географии, хронологии). Подробнее о них см.: Аксаков К.С. Воспоминания студенства 1832—1835 годов // Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989. С. 314.

98* Семен Мартынович Ивашковский (1774—1850) — профессор греческого языка с 1819 г.

99* Сергей Григорьевич Строганов (Строгонов) (1794—1882) — граф, участник Отечественной войны 1812 г., с 1816 г. — штаб-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, с 1828 г. генерал-майор, в 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа, председатель московского цензурного комитета.

100* Входящие, оставьте упованья (итал.) — надпись над вратами Ада в поэме Данте «Божественная комедия» (III, 9); перевод М. Лозинского.

101* Слова из трактата Н. Макиавелли «Государь» (гл. XVIII).

102* Замогильные записки. С. 172—174.

103* Иван Михайлович Снегирев (1793—1868) — ординарный профессор латинской словесности Московского университета (1826—1836), цензор московского цензурного комитета (1826—1850), университетский товарищ П. Я. Чаадаева; «Дневник» Снегирева, на который ссылается М.О. Гершензон, вышел отдельным изданием (М., 1904—1905. Т. 1—2).

104* «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева было опубликовано в 15-м номере журнала «Телескоп» (1836), вышедшем в начале октября. Вскоре журнал был закрыт, издатель (Н.И. Надеждин) выслан в Усть-Сысольск, цензор отстранен от должности, а сам автор «высочайше» объявлен сумасшедшим.

Премьера «Ревизора» состоялась 19 апреля 1836 г. В театр неожиданно приехал Николай I, который «пьеской» остался «чрезвычайно доволен». Подробнее см.: Сапов В.В. Обидчик России. Дело о запрещении журнала «Телескоп» (Новые документы о П. Я. Чаадаеве) // Вопросы литературы. 1995. Вып. I-II.

105* Джузеппе Мацини (Мадзини) (1805—1872) — итальянский революционер, один из вождей итальянского национально-освободительного движения, руководитель и идеолог его левого республиканского направления.

^{106*} Виктор Консiderан (1808—1893) — французский социалист-утопист, последователь Ш. Фурье; его книга «Социальная участь», изданная в Париже в 1834—1844 гг. в трех томах, является одним из наиболее систематизированных изложений взглядов Фурье.

^{107*} «Фаланга» (1836—1849) — фурьеристский журнал, выходивший под редакцией Консiderана.

^{108*} Пьер-Анри Леру (1797—1871) — французский публицист, социалист-утопист, один из видных представителей христианского социализма; название его сочинения — «Опыт о равенстве».

^{109*} Этьен Кабе (1783—1856) — французский социалист-утопист; в 40-х гг. XIX в. он пытался создать в Америке (в штате Техас) колонию французских рабочих, основанную на принципах «неклассового» коммунизма, изложенных им ранее в социально-утопическом романе «Путешествие в Икарию»; опыт Кабе окончился полной неудачей.

^{110*} Луи Блан (1811—1882) — французский социалист-утопист, историк и журналист, деятель революции 1848 года.

^{111*} Пьер Жозеф Прудон (1809—1865) — французский философ, основоположник теории анархизма; автор трактатов «Что такое собственность?» (в котором сформулирован самый знаменитый афоризм Прудона: «Собственность — это кражा»), «Бедность как экономический принцип» и др. Последнее издание на русском языке: Прудон П.Ж. Что такое собственность? М., 1998.

^{112*} Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494) — итальянский мыслитель эпохи Возрождения; в 1486 г. обнародовал «900 тезисов», взятых из всех ему известных философских и религиозных учений, и вызвался защитить их в Риме перед учеными христианского мира; введением к ним явилась «Речь о достоинстве человека» — одно из самых знаменитых свидетельств ренессансного мировосприятия.

^{113*} Редемптористы — орден Испукителя, основанный в 1732—1744 г. в Италии и тесно связанный с орденом иезуитов (*redemptio* — искупление, *лат.*).

^{114*} Михаил Никифорович Катков (1818—1887) — журналист и публицист, в 30-е годы примыкал к кружку Н.В. Станкевича, был близок с В.Г. Белинским, А.И. Герценом, М.А. Бакунином, в начале 40-х годов порвал старые литературные связи. В 1850—1855 и 1853—1887 гг. редактировал газету «Московские ведомости».

^{115*} Королларий — следствие, получающееся из доказательства теоремы; в учении Спинозы суждение, вытекающее как следствие из каких-либо других положений.

^{116*} Фелисите-Робер де Ламенне (1782—1854) — французский религиозно-политический деятель, философ и писатель, аббат, один из создателей системы «христианского социализма».

^{117*} Жан-Батист-Анри Лакордер (1802—1861) — французский проповедник, в 20-е годы вместе с Ламенне издавал журнал «L'Avenir» («Будущее»), на страницах которого отстаивал идею независимости церкви от государства.

^{118*} Филипп Жозеф Бюше (1796—1865) — французский политический деятель и историк, один из идеологов христианского социализма.

^{119*} От франц. *résurrection* — воскресение (то есть орден «Воскресения Господня»). Богдан Яньский (Янский), экономист по профессии, был последователем Сен-Симона; в 1835 г. во Франции он основал ультрамонтанский кружок «Братство Национального Служения», ставивший своей целью «воскрешение» Польши.

^{120*} Петр Семененко (1814—1886) — участник польского восстания 1830—1831 гг., после подавления восстания эмигрировал во Францию, где сначала примкнул к «Демократическому обществу», затем принял духовный сан (ксендиз), стал религиозным проповедником, участвовал в основании ордена «Воскресения Господня» (ресурсрекционистов).

^{121*} Федор Федорович Печерин (р. 1807) — двоюродный брат В.С. Печерина, воспитывался в школе гвардейских подпрапорщиков, служил в лейб-гвардии Московском полку, в 1848 г. в чине полковника вышел в отставку и умер холостым в Одессе в середине 1850-х годов.

^{122*} Люттих — немецкое название бельгийского города Льежа.

^{123*} Иов. 2, 10; 1, 21. В Синодальном переводе: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!»

^{124*} Ис. 35, 10.

^{125*} Лк. 1,38.

^{126*} Мф. 25, 21.

^{127*} Виттем (Виттен) — город на территории Рейнской провинции в Германии.

^{128*} Первая часть цитаты из Августина — ошибочна; Августин слышал другие слова, ставшие причиной его обращения в христианство. «И вот слышу я голос из соседнего дома, — рассказывает он в «Исповеди» (VIII, XII, 29), — не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай! Возьми, читай!»... Я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне: открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется... Я схватил их [апостольские Послания], открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза: «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в скорбах и в зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было: после этого текста сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений» (*Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991. С. 210—211*).

Вторая часть цитаты тоже взята из «Исповеди» (Х, XXVII, 38): «Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя!» (*Там же. С. 261*).

^{129*} Госпицией (не совр. «хоспис») в прошлом веке назывался дом типа постоялого двора, гостиница, обслуживающаяся монахами.

^{130*} Цитата из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» (*Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 тт. М., 1981. Т. III. С. 144*). По признанию самого В.С. Печерина, когда вышли «Цыганы» Пушкина (отдельной книгой — в мае 1827 г.), «я тотчас понял себя и свое назначение» (*Замогильные записки. С. 301*).

^{131*} Алексей Федорович Орлов (1786—1861) — военный и государственный деятель, брат декабриста М.Ф. Орлова; за участие в подавлении восстания декабристов получил титул графа; в 1844—1856 гг. шеф жандармов и начальник Третьего отделения.

^{132*} Леонтий Васильевич Дубельт (1792—1862) — начальник штаба корпуса жандармов (с 1835 г.) и управляющий Третьим отделением (1839—1856).

^{133*} Карл Васильевич Нессельроде (1780—1862) — министр иностранных дел России в 1816—1856 гг.

^{134*} Петр Яковлевич Убри (1774—1847) — русский посланник при Германском союзе, действительный статский советник.

^{135*} См.: *Герцен А.И. Сочинения в 9-ти тт. М., 1957. Т. 6. С. 400*.

^{136*} Отчет представляет из себя брошюру объемом в 87 стр. «Печеринскому процессу» посвящена также статья Джона Мильдуна (Mildoon) «Famous Irish Trails. «The Bible Burning Case»» [*«Знаменитые ирландские процессы: Дело о сожжении Библии»*], напечатанная в журнале «The Irish Packet». Dublin, 1904, 16 April. II. № 29. P. 714—715 (М.О. Гершензон ссылается на нее ниже).

^{137*} Дмитрий Львович Крюков (1809—1845) — профессор римской словесности и древностей Московского университета, участник кружка Герцена в 40-х гг., товарищ Печерина, П.Г. Редкина, М.С. Куторги и др. по «профессорскому институту» в Дерпите.

^{138*} А.И. Герцен рассказывает о своей встрече с Печериным в седьмой части «Былого и дум» (гл. VI: «Pater V. Petcherine»). См.: *Герцен А.И. Сочинения в 9-ти тт. М., 1957. Т. 6. С. 390*.

^{139*} Позма Печерина «Торжество смерти» была напечатана впервые в «Полярной звезде» на 1861 г. (кн. VI) и в сборнике «Русская потаенная литература» (Лондон, 1861).

^{140*} Близкое к тексту изложение письма Печерина к Герцену от 15 апреля 1853 г. (См.: *Герцен А.И. Сочинения. Т. 6. С. 393—394*).

^{141*} Цитата из ответного письма Герцена от 21 апреля 1853 г. (*Там же. С. 396*).

^{142*} Мишель Шевалье (1806—1879) — французский экономист, в молодости сен-симонист, впоследствии сторонник умеренной конституционной монархии

143* Почти полностью приведено письмо Печерина к Герцену от 3 мая 1853 (*Герцен А.И. Сочинения*. Т. 6. С. 397—398).

144* Замогильные записки. С. 164.

145* Цистерцианский монашеский орден был основан бенедиктинским монахом Робертом из Шампани в 1098 г. в местечке Сито (Цистерциум) во Франции, неподалеку от г. Дижона; устав ордена в 1113 г. разработал Бернар Клервоский (1090—1153). Упомянутые выше трапписты — члены католического монашеского ордена, основанного в 1636 г. де Ранс, аббатом цистерцианского монастыря Ла Трапп (откуда и происходит название ордена). Орден траппистов известен своим строгим уставом, требовавшим обета молчания.

146* Шарль-Форб де Монталамбер (1810—1870) — французский писатель и политический деятель; в 1830—1840-е гг. глава либеральной католической партии.

147* Имеется в виду апостол Петр (Симон), который до своего обращения занимался ловлей рыбы. «Отныне будешь ловить человеков», — сказал ему Иисус Христос (Лк. 5, 10).

148* Константин Великий (Флавий Валерий) (ок. 285—337) — римский император с 306 г., которого церковная традиция называет равноапостольным и связывает с ним коренным поворотом от преследования христианства к покровительству новой религии; в 330 г. он перенес столицу империи из Рима в Византий, получивший название Константинополя.

149* Григорий VII (Гильдебрандт) (ок. 1020—1085) — римский папа с 1073 г.; вел длительную, полную драматических коллизий, борьбу с германским императором Генрихом IV против светской инвеституры (права назначать епископов), в конечном счете потерпел в этой борьбе поражение и в 1084 г. вынужден был бежать из Рима к своим союзникам, умер в изгнании. Предсмертные слова Григория VII Печерин избрал также в качестве эпиграфа к одному из своих автобиографических отрывков, явно относя их к самому себе. См.: *Замогильные записки*. С. 292.

150* Неточная цитата из стихотворения В.А. Жуковского «К портрету Гёте» (1819):

Свободу смелую приняв в себе закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился.

И в мире всё постигнул он —
И ничему не покорился.

(*Жуковский В.А. Стихотворения. Поэмы. Проза*. М., 1983. С. 152).

151* Эта фотография воспроизведена в «Литературном наследстве». Т. 62: *Герцен и Огарев*. II. М., 1955. С. 467.

152* В главу 2-ю книги «История молодой России» «В.С. Печерин» после слов «свои издания» М.О. Гершензоном сделана вставка: «то «Записки» П. Долгорукова 1863 г., его же брюссельский «Листок» 1862», ... Первый том «Мемуаров» П.В. Долгорукова вышел в Женеве в 1867 г., а не в 1863 году, как указывает М.О. Гершензон. В этих «Мемуарах» представлена анекдотическая история России от Петра I до середины XVIII в. Подробнее см.: *Долгоруков П. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867*. М., 1992. С. 465.

153* Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — социальный философ, правовед, писатель и публицист, профессор Московского университета. Приведенный отзыв о нем Герцена содержится в очерке «Н.Х. Кетчер» из 4-ой части «Былого и дум». См.: *Герцен А.И. Сочинения* в 9-ти тт. М., 1956. Т. 56. С. 250.

154* Там же. С. 575 (очерк «Н.И. Сазонов» из цикла «Русские тени»).

155* Там же. С. 324 («Былое и думы». Ч. 5 [а не 4, как указывает М.О. Гершензон], гл. XXXVII).

156* Неточная цитата из стихотворения Г. Гейне «Jetzt wohin?» («Теперь куда?»): «Aber meinen eignen Stern / Kann ich nirgends dort erblicken». В пер. Л. Гинзбурга: «Но нигде не нахожу я звезды моей заветной» (*Гейне Г. Стихотворения. Поэмы. Проза*. М., 1971. С. 427).

157* Печерин читал «Letzte Gedichte und Gedanken von H. Heine. Aus dem Nachlasse des Dichters zum ersten Male veröffentlicht». Hamburg, 1869 («Последние стихотворения и мысли Генриха Гейне»).

158* *Герцен А.И. Сочинения* в 9-ти тт. М., 1955. Т. 1. С. 282. Аналогичные две строки:

«Просто непонятно, зачем людям даются такие силы и стремления, которые некуда употребить».

^{159*} Там же. Т. 5. С. 300 («Былое и думы». Ч. 5. Гл. XXXVI).

^{160*} Там же. Т. 1. С. 281.

^{161*} См. Там же. Т. 6. С. 18 («Былое и думы». Ч. 6. Гл. II).

^{162*} Там же. Т. 5. С. 333.

^{163*} Имеется ввиду поражение Франции в ходе франко-прусской войны 1871 г.

^{164*} «Сила и материя» — сочинение немецкого философа Людвига Бюхнера (1824—1899), врача, естествоиспытателя и философа, представителя вульгарного материализма (рус. перевод: СПб., 1907).

^{165*} Неточная цитата из первой части «Фауста» Гёте (слова Мефистофеля студенту в сцене «Рабочая комната Фауста»):

Mit Worten läßt sich trefflich streiten,
mit Worten ein System bereiten,
an Worte läßt sich trefflich glauben,
von einem Wort läßt sich kein Jota rauben.

Бессодержательную речь
Всегда легко в слова облечь.
Из голых слов, ярясь и споря,
Возводят здания теорий.

(Гёте И.В. Фауст. М., 1969. С. 97. Пер. Б.Л. Пастернака).

^{166*} Первый Ватиканский собор происходил в 1869—1870 гг. Созыву собора предшествовало издание «Силлабуса», опубликованного в 1864 г. как приложение к энциклике папы Пия IX того же года «Quanta cura» («Какая забота», лат.). В «Силлабусе», состоящем из 80 статей, подвергаются анафеме важнейшие научные, политические и общественные течения и идеи Нового времени, которые сведены в 10 крупных разделов: рационализм; пантезизм и атеизм; социализм и коммунизм; заблуждения относительно церкви и ее прав; заблуждения в отношении гражданского общества; заблуждения в области морали. 80-я статья гласит: «Анафема тому, кто скажет: римский папа может и должен согласовываться и считаться с прогрессом, либерализмом и новейшей государственностью». Вселенский собор провозгласил догмат о «непогрешимости папы». Пока работал собор, в ходе борьбы за объединение Италии была упразднена светская власть папы; через месяц Пий IX объявил о прекращении деятельности собора.

^{167*} «Так я хочу, так я приказываю» — слова властной женщины, требующей казни неугодившего ей раба из шестой «Сатиры» Ювенала.

^{168*} Выражение «Государство — это я» приписывается французскому королю Людовику XIV; словами «После нас хоть потоп» фаворитка короля Людовика XV маркиза Помпадур утешала короля после поражения французских войск при Росбахе. 1789 — год начала Французской революции, 1792 — казнь короля Людовика XVI.

^{169*} Гонорий II (в миру Кадал Пармский), римский папа в 1061—1072 гг. (впоследствии антипапа: одновременно с ним папой был Александр II). «После смерти Николая II в церкви произошел раскол, ибо ломбардское духовенство не пожелало подчиниться Александру II, избранному в Риме, и сделало Кадала Пармского антипапой. Генрих же IV [германский император], которому ненавистно было усиление папской власти, пытался убедить папу Александра отказаться от тиары, а кардиналов — собраться в Германии для избрания нового первосвященника... Папа собрал собор и на нем лишил Генриха императорского и королевского достоинства. Некоторые народы Италии приняли сторону папы, другие сторону Генриха, — отсюда и пошло разделение на гвельфов и гибеллинов...» (Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1987. С. 27).

^{170*} Диоцез (от греч. diokesis — управление) — епархия, территориально-административная единица в системе управления католической церкви.

171* Замогильные записки. С. 176.

172* «Ученейший и достославный муж NN, истинное украшение научного мира, прославившийся тем, что только теперь — благодаря Минерве — буква Е, которая по небрежности вкрадась при переписке, исправлена, как и должно, на Ъ. См. комментарий к «Полному собранию сочинений» Пушкина. Новое и исправленное издание, напечатанное по древнейшим московским рукописям, снабженное многочисленными примечаниями и подробнейшими указаниями. Лейпциг. В типографии Тейфельсдрека. Год 2871 от Р.Х.» (*лат.*).

Выражение «благодаря Минерве» — иронический парадиз горациева «*Invita Minerva*» — «наперекор Минерве», — то есть без вдохновения.

Тейфельсдрек (в букв. переводе с немецкого — «чертов помет») — главный герой книги Т. Карлейля «*Sartor Resartus. Жизнь и мысли герра Тейфельсдрека*» (Т. I—2. М., 1904); примерно такой же «ученый», как чеховский автор «письма ученому соседу» или флоберовские Бувар и Пекюше.

173* Отец В.С. Печерина, Сергей Пантелеевич, полковник в отставке, родился в 1781, а умер в 1866 г. Судя по воспоминаниям сына, это был человек малообразованный, деспотический, жестокий. «По благому русскому обычаю, — писал В.С. Печерин, — отец мой, разумеется, сек своих дворовых людей. Еще теперь слышу их вопли, как их драли в конюшне. Мать подсыпала меня к отцу ходатайствовать за Ваську или Яшку. Я плакал, умолял, целовал руки у отца, и иногда мне удавалось смягчить суровость русской судьбы... Но и мать моя [Пелагея Петровна, урожденная Симоновская, умерла в 1858 г.] сама была жертвою... Однажды она взяла меня за руку, повела в уголок и поставила на колени подле себя перед образом св. Николая и со слезами сказала: «О. св. Николай! ты видишь, как несправедливо с нами поступают!» Между тем в ближней комнате шла вечеринка. Песенники пели с бубнами и тарелками модную в то время песню:

Посреди войны кровавой
Истреблю тебя, любовь!
Разорву твой плен суровый
И свободен буду вновь!

Но царицею этого праздника была не мать моя, а другая... Эта другая — была жена нашего полковника, хитрая и красивая полька, с которой отец имел почти открытую связь... Тут я бросаю перо и невольно задумываюсь. Вот где узел моей жизни! Вот таинство судьбы! Вот греческая трагедия! Вот Орест, отмывающий за обиду не отца, а матери!.. Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство мести овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание отдельаться от родительского дома, искать счастья где-нибудь в другом месте?» (Замогильные записки. С. 151).

174* О смерти Пояркова см. выше, прим. 3*.

175* Даниэль О'Коннел (1775—1847) — деятель ирландского национального движения, возглавлявший борьбу за предоставление гражданских прав католикам и отмену англо-ирландской униони; в 1829 г. возглавил ирландскую фракцию в английском парламенте.

176* Александр Васильевич Никитенко (1804—1877) — критик и журналист, профессор Петербургского университета, цензор, в 1847—1848 гг. редактор журнала «Современник». Здесь и далее М.О. Гершензон цитирует его «Дневник» (М., 1955. Т. I—2).

177* Замогильные записки. С. 165. Отрывок называется «Эпизод из петербургской жизни (1830—1833)».

178* Замогильные записки. С. 167.

179* Там же . С. 166.

180* Ссылка на Данте сделана Печериным неправильно; вероятнее всего имеется в виду пизанский архиепископ Руджери дела Убальдини (ум. 1295 г.), который обманом путем захватил власть в городе, а главного своего соперника Уголино вместе с двумя его сыновьями и двумя внуками заточил в башню и уморил голодом. Об этом Данте рассказывает в начале 33-й песни «Лада».

^{181*} Имеется в виду стихотворение «Наводнение», приписывавшееся Лермонтову (См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 447; большие отрывки из него приводит Н.П. Анциферов. Указ. соч. С. 91).

^{182*} Цитата из «Воспоминаний» В.А. Соллогуба (См.: М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964. С. 277).

^{183*} Герцен А.И. Сочинения в 9-ти тт. М., 1957. Т. 6. С. 388 («Былое и думы». Ч. 7. Гл. VI). «... я... спрашивал себя, — пишет здесь Герцен, — неужели этот человек может быть католиком, иезуитом? Ведь он уже ушел из царства, в котором история делается под палкой квартального и под надзором жандарма. Зачем же ему так скоро занадобилась другая власть, другое указание?»

^{184*} Петр Владимирович Долгоруков (1816—1868), князь — публицист и историк, в 1859 г. эмигрировавший из России.

^{185*} Стихотворение «Прочь, о демон лучезарный», опубликованное в журнале «Русская старина» и принесанное Н.С. Тихонравовым В.С. Печерину, на самом деле ему не принадлежит. По мнению А.А.Сабурова, «именно на этом стихотворении, отличающемся романтической экзальтацией и мистическим духом, Гершензон, которому на руку был домыслен публикатором, построил свое неверное представление о последнем периоде жизни автора «Замогильных записок» (Литературное наследство. 1955. Т. 62. С. 466).

4 сентября 1875 г. Печерин писал Ф.В. Чижову: «Прошу тебя от имени моего поздравить издателя «Русской старины» с изобретательным гением г. Тихонравова. Признаюсь, я не без зависти прочел это стихотворение: мне очень бы хотелось быть его сочинителем или, как говорят, творцом. Но по совести не могу присвоить себе чужого добра. Автор отлично выполнил свою роль; но в одном только он дал промаха, а именно в том, что он писал а ріогі, т.е. воображая себе какого-то идеального, романтического, средневекового монаха, каким я никогда не был. В этом отношении совесть моя чиста: подобных чисто религиозных излияний о суете мирского и о предвечной любви я никогда не писал. Но главное дело в том — это исторический факт — что во все времена моего пребывания в монашеской келье у редемптористов, т. е. до 1861 г., я ни одной строки не писал по-русски, исключая редких писем к родным, и почти позабыл русский язык до такой степени, что когда в 59 г. меня приглашали сказать русскую проповедь в Риме, я под этим благовидным предлогом удачно увернулся от такой нелепости и не посрамил земли русских. [...] Я снова сблизился с русским миром в 1862, когда я начал читать «Колокол» и вошел в сношения с Герценом, Огаревым и П.Долгоруковым. Первое стихотворение — после моей эмансиации в 1861 — было напечатано в газете «День», в сентябре 1865; но это стихотворение дышит не монашеским самоутвержением, а напротив, полнейшим разочарованием и даже безверием, как тогда же заметил в письме ко мне Герцен. Из всего вышесказанного яствует, что ни физически, ни нравственно мне невозможно быть автором стихотворения, сообщенного «Русской старине». Quod demonstradum era! [Что и требовалось доказать. — лат.]. Вследствие чего я торжественно, решительно и окончательно отрекаюсь от стихов г. Тихонравова и от всех дел его.

Прочь, о демон лучезарный,
Искуситель, стих коварный.

(Литературное наследство. Т. 62. С. 466—467).